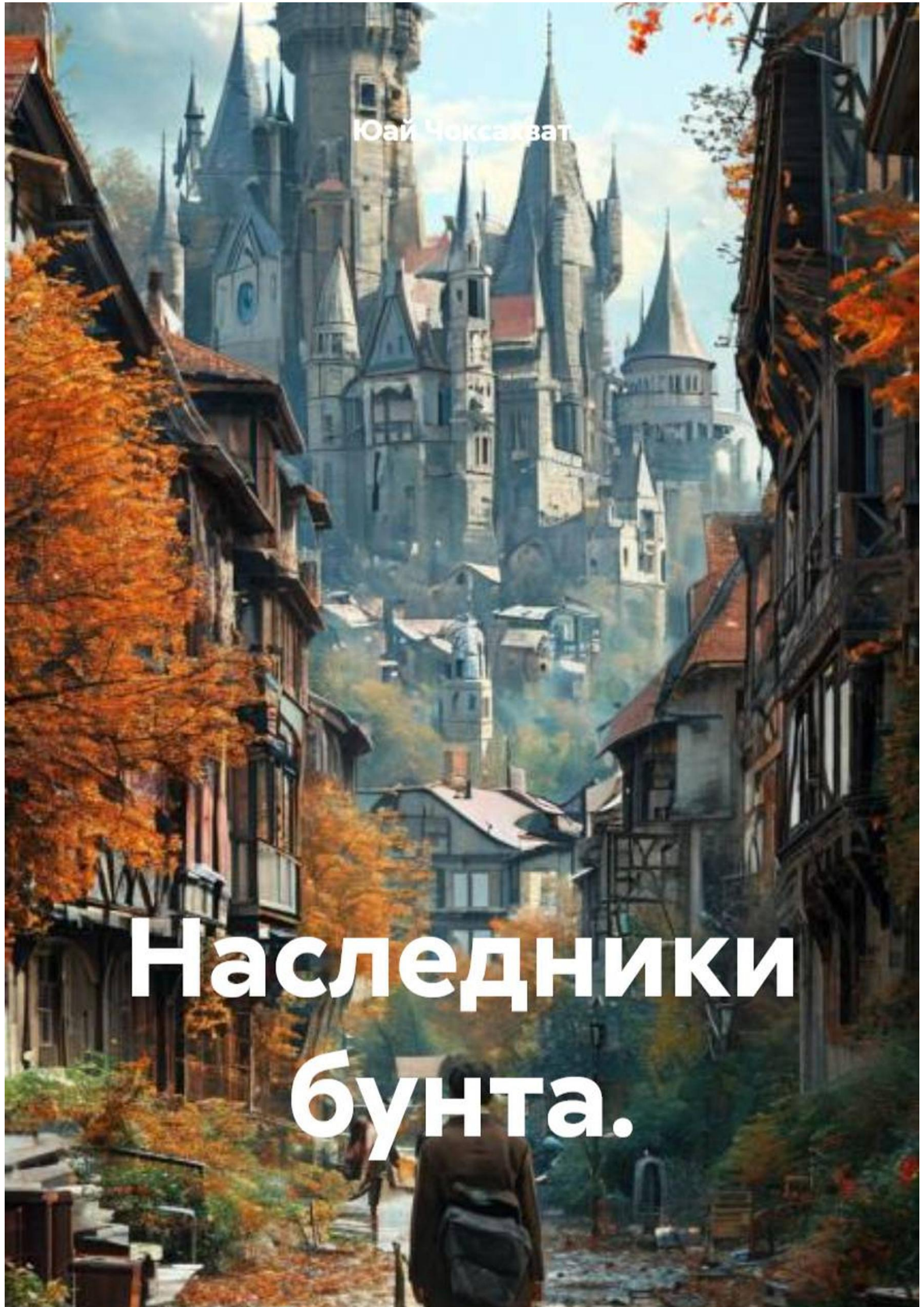


Юай Чоксахват

Наследники бунта.



Юай Чоксахват
Наследники бунта.

«Автор»

2026

Чоксахват Ю.

Наследники бунта. / Ю. Чоксахват — «Автор», 2026

В провинциальный город приезжает человек с манифестом, который звучит слишком смело для тихих улиц и закрытых кабинетов. За красивыми словами быстро проступают страх, зависть и готовность разрушать чужую жизнь ради чужой идеи. Друзья, родные и случайные свидетели оказываются втянуты в спираль обвинений, слухов и насилия. Каждый думает, что контролирует ситуацию, пока город не начинает жить по законам толпы. «Наследники бунта» — политический роман о том, как идеи превращаются в оружие.

© Чоксахват Ю., 2026

© Автор, 2026

Юай Чоксахват

Наследники бунта.

Наследники бунта
Yuai Choksahwat
Серия «Книга времени»

Глава 1

Вместо пролога: кое-что из жизни уважаемого Степана Трофимовича Верховенского
I

Приступая к рассказу о недавних и таких странных событиях, произошедших в нашем, до этого ничем не примечательном городе, я вынужден, по своей неумелости, начать немного издалека, а именно с некоторых биографических деталей о талантливом и уважаемом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти детали послужат лишь прологом к предлагаемой хронике, а сама история, которую я намерен рассказать, еще впереди.

Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл среди нас некую особую и, так сказать, общественную роль и любил эту роль до страсти, – так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтобы я его сравнивал с актером в театре: упаси боже, тем более что я его уважаю. Тут все могло быть делом привычки, или, лучше сказать, непрерывной и благородной склонности, с юных лет, к приятной мечте о красивой общественной своей позиции. Он, например, чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «неблагонадежного». В этих словах есть своего рода классический отблеск, пленивший его раз и навсегда, и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в течение столь многих лет, довел его наконец до некоего весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала. В одном сатирическом романе прошлого века некий Гулливер, вернувшись из страны лилипутов, где люди были всего в несколько сантиметров ростом, до того привык считать себя среди них великаном, что, идя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и машинам, чтобы они перед ним сворачивали и остерегались, чтобы он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он все еще великан, а они маленькие. За это над ним смеялись и ругали его, а грубые таксисты даже сигналили великану; но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но еще в более невинном и безобидном виде, если можно так выразиться, потому что прекрасный был человек.

По правде говоря, Степан Трофимович постоянно разыгрывал перед нами некую особую, гражданскую роль и любил её до безумия – настолько, что, мне кажется, без неё и жить не мог. Я ни в коем случае не сравниваю его с актёром в театре, упаси боже, тем более что я его уважаю. Скорее, это была привычка, или, лучше сказать, непрерывная и благородная склонность, с юных лет, к мечте о красивой гражданской позиции. Он, например, обожал своё положение "гонимого" и, так сказать, "неблагонадёжного". В этих словах есть своего рода классический отблеск, который его однажды соблазнил и, постепенно возвышая его в собственных глазах на протяжении стольких лет, вознёс на весьма высокий и приятный для самолюбия пьедестал. Знаете, как в той старой английской сатире, где Гулливер, вернувшись из страны лилипутов, где люди были ростом всего в два дюйма, так привык считать себя великаном, что, гуляя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и машинам, чтобы они уступали ему дорогу и остерегались, чтобы он их не раздавил, воображая, что он всё ещё великан, а они – маленькие. Над ним смеялись и ругали его, а грубые кучера даже стегали великана кнутами. Но справедливо ли это? Что не может сделать привычка? Привычка почти то же самое сделала и со Степаном Трофимовичем, но в более невинной и безобидной форме, если так можно выразиться, потому что он был прекрасный человек.

Я даже думаю, что под конец его все и везде забыли; но нельзя сказать, что и раньше его совсем не знали. Бесспорно, некоторое время он принадлежал к знаменитой плеяде выдающихся деятелей нашего прошлого поколения, и однажды – правда, всего лишь на короткий миг – его имя произносилось некоторыми торопливыми людьми почти наравне с именами тех, кто сейчас вещает из-за границы, или тех, кто пишет в Telegram-каналах. Но деятельность Степана Трофимовича закончилась почти в тот же момент, как и началась – так сказать, из-за "вихря сошедшихся обстоятельств". Да вот только ни "вихря", ни "обстоятельств" потом и не оказалось, по крайней мере, в этом случае. Я только сейчас, на днях, узнал, к моему величайшему удивлению, но зато совершенно точно, что Степан Трофимович жил среди нас, в нашей области, не только не в ссылке, как у нас было принято считать, но даже и под надзором никогда не находился. Какова же сила воображения! Он искренне верил всю свою жизнь, что в определённых кругах его постоянно опасаются, что его шаги известны и сочтены, и что каждый из трёх сменившихся у нас за последние двадцать лет губернаторов, приезжая руководить областью, уже привозил с собой особое беспокойство о нём, внушённое ему свыше и прежде всего, при передаче дел. Если бы кто-нибудь тогда убедил честнейшего Степана Трофимовича неопровержимыми доказательствами, что ему нечего бояться, он бы непременно обиделся. А ведь это был умнейший и талантливейший человек, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке... ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас это сплошь и рядом случается.

Думаю, к концу жизни его почти все забыли; хотя нельзя сказать, что раньше он был совсем уж неизвестен. Бесспорно, какое-то время он принадлежал к плеяде известных людей прошлого поколения, и однажды – буквально на мгновение – его имя произносили почти наравне с именами модных блогеров, политологов, урбанистов и даже с тем парнем, который только что свалил за границу и вещает оттуда. Но карьера Степана Трофимовича закончилась почти сразу, как началась – из-за "вихря обстоятельств". Впрочем, никакого "вихря" и "обстоятельств" потом не обнаружилось. Недавно я с удивлением узнал, что Степан Трофимович жил у нас в области не то что не в ссылке, как все думали, но даже под надзором никогда не был. Вот что значит сила воображения! Он искренне верил, что им постоянно интересуются какие-то структуры, что каждый его шаг известен и просчитан, и что каждый из трёх сменившихся за последние двадцать лет губернаторов, приезжая в область, уже имел о нем особое мнение, внушенное "сверху". Попробуй доказать честнейшему Степану Трофимовичу, что ему нечего бояться – он бы обиделся. А ведь это был умнейший и талантливейший человек, почти ученый, хотя в науке... ну, в общем, в науке он не преуспел. Впрочем, с учеными у нас это часто случается.

Он вернулся из-за границы и засветился как лектор в университете в конце девяностых. Успел прочитать всего несколько лекций, кажется, о влиянии телеграма на современное общество; успел защитить диссертацию о роли волонтерского движения в зоне СВО в период с 2022 по 2024 годы, а также о причинах, по которым это движение не получило должной поддержки от государства. Диссертация задела тогдашних патриотов и нажила ему врагов. Потом – уже после увольнения из университета – он опубликовал (в отместку и чтобы показать, кого они потеряли) в модном журнале, печатавшем переводы западных авторов и проповедовавшем либеральные ценности, начало глубокого исследования – кажется, о причинах необычайного героизма добровольцев на передовой. По крайней мере, там была какая-то высшая и благородная мысль. Говорили, что продолжение исследования запретили, и журнал пострадал за первую часть. Вполне возможно, тогда чего только не было? Но скорее всего, ничего не было, и автор просто поленился закончить. Лекции о телеграме он прекратил, потому что кто-то перехватил его переписку, где он излагал какие-то "обстоятельства", и от него потребовали объяснений. Говорили, что в Петербурге в то же время нашли какое-то огромное, антиправительственное сообщество человек в тринадцать, чуть не потрясшее основы государства. Якобы они

собирались переводить западные методички по организации протестов. Как назло, в Москве нашли поэму Степана Трофимовича, написанную им еще лет десять назад в Европе, в юности, и ходившую по рукам в списках между парой друзей и одним студентом. Эта поэма есть и у меня; я получил ее в прошлом году в собственноручном списке от самого Степана Трофимовича, с надписью и в красивом переплете. Она не лишена поэзии и даже таланта; странная, но тогда (в начале 2010-х) так часто писали. Сюжет пересказать сложно, я в нем ничего не понимаю. Это аллегория в лирико-драматической форме, напоминающая какой-то современный артхаус. Сначала хор женщин, потом хор мужчин, потом каких-то ботов, и в конце хор душ, еще не родившихся, но желающих пожить. Все поют о чем-то неопределенном, в основном о проклятии, но с иронией. Потом сцена меняется, и наступает "Праздник жизни", где поют даже насекомые, появляется дрон с какими-то латинскими надписями, и даже, кажется, поет какой-то минерал, то есть неодушевленный предмет. Все поют, а если говорят, то ругаются, но опять же с иронией. Наконец, сцена меняется, и появляется дикое место, а между руинами бродит молодой человек, который срывает и ест какие-то травы, и на вопрос феи: зачем он это делает? – отвечает, что, чувствуя избыток жизни, ищет забвения в этих травах; но главное его желание – поскорее потерять разум (желание, возможно, излишнее). Потом вдруг въезжает прекрасный юноша на черном мотоцикле, а за ним толпа людей. Юноша – это смерть, а люди ее жаждут. И в последней сцене появляется недостроенный ЖК, и какие-то рабочие его достраивают с песней надежды, и когда достраивают до верха, то владелец, скажем, "Газпрома", убегает в комическом виде, а человечество, завладев его местом, начинает новую жизнь. Эту поэму и сочли опасной. Я предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, учитывая ее полную невинность в наше время, но он отказался с неудовольствием. Мнение о невинности ему не понравилось, и я думаю, что это вызвало его холодность ко мне на пару месяцев. И что же? Вскоре после моего предложения ее напечатали там, за границей, в одном из оппозиционных сборников, без ведома Степана Трофимовича. Он испугался, побежал к главе администрации и написал оправдательное письмо в Москву, читал мне его дважды, но не отправил, не зная, кому адресовать. Волновался месяц; но я уверен, что в глубине души был польщен. Он чуть не спал с экземпляром сборника, днем прятал его под матрас и не пускал уборщицу перестилать постель, и хоть ждал телеграмму, смотрел свысока. Телеграмма не пришла. Тогда он со мной помирился, что говорит о его доброте.

Он вернулся из-за границы и, словно метеор, появился в университете в конце двухтысячных. Успел прочитать всего несколько лекций – кажется, о ближневосточных конфликтах – и защитил яркую диссертацию о роли одного подмосковного города в логистике между фронтом и тылом в 2022-2023 годах, а также о тех не до конца ясных причинах, почему эта роль оказалась недолгой. Диссертация задела за живое тогдашних охранителей традиционных ценностей и моментально нажила ему кучу злых врагов. Потом – уже после увольнения из университета – он успел опубликовать (как бы в отместку и чтобы показать, кого они потеряли) в одном прогрессивном онлайн-журнале, переводящем западную аналитику и продвигающем новые социальные идеи, начало глубокого исследования – кажется, о мотивации добровольцев на передовой или что-то в этом роде. Во всяком случае, там прослеживалась какая-то возвышенная и необыкновенно благородная мысль. Говорили потом, что продолжение исследования спешно завернули и что даже журнал получил предупреждение за первую часть. Вполне могло быть, потому что чего тогда не было? Но скорее всего, ничего такого не было, и автор сам поленился закончить работу. А лекции о Ближнем Востоке он прекратил, потому что кто-то (очевидно, из консервативных недоброжелателей) перехватил его переписку, где он делился какими-то «соображениями», после чего от него потребовали объяснений. Не знаю, правда ли, но утверждали еще, что в Москве в то же время обнаружили какое-то огромное, антиобщественное и антигосударственное сообщество человек в тринадцать, которое чуть ли не потрясло основы. Говорили, что они собирались переводить западные социологические тео-

рии. Как назло, в то же самое время в Москве нашли и стихи Степана Трофимовича, написанные им еще лет десять назад, в Берлине, в самом начале его карьеры, и ходившие по рукам в виде перепечаток между двумя друзьями и одним аспирантом. Эти стихи лежат сейчас и у меня в столе; я получил их не далее как в прошлом году, в собственноручной, совсем свежей перепечатке, от самого Степана Трофимовича, с его подписью и в красивой красной обложке. Впрочем, в них есть поэзия и даже талант; странные, но тогда (то есть, вернее, в начале десятых) в этом роде часто писали. Рассказать же сюжет сложно, потому что, честно говоря, я ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория в лирико-драматической форме, напоминающая вторую часть «Фауста». Сцена начинается с хора женщин, потом с хора мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего с хора душ, еще не родившихся, но которым очень хочется пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, в основном о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг меняется, и наступает какой-то «Фестиваль жизни», на котором поют даже насекомые, появляется дрон с какими-то латинскими надписями, и даже, если я правильно помню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже совсем неодушевленный. В общем, все поют без перерыва, а если разговаривают, то как-то неопределенно ругаются, но опять же с оттенком высшего смысла. Наконец, сцена снова меняется, и появляется дикая местность, а между руинами бродит один образованный молодой человек, который срывает и жует какие-то травы, и на вопрос феи: зачем он жует эти травы? – отвечает, что он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих трав; но что главное его желание – поскорее потерять рассудок (желание, возможно, и излишнее). Затем вдруг въезжает неопишуемой красоты юноша на черном мотоцикле, и за ним следует огромное количество людей разных национальностей. Юноша изображает собой смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, в самой последней сцене вдруг появляется недостроенный жилой комплекс, и какие-то строители его наконец достраивают под песню новой надежды, и когда они достраивают его до самого верха, то владелец, скажем, строительной компании, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тут же начинает новую жизнь с новым пониманием вещей. Ну, вот эти-то стихи и сочли тогда опасными. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу их опубликовать, учитывая их полную безобидность в наше время, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о полной безобидности ему не понравилось, и я даже приписываю этому некоторую холодность в его отношении ко мне, продолжавшуюся целых два месяца. И что же? Вдруг, и почти тогда же, когда я предлагал опубликовать здесь, – печатают наши стихи там, то есть за границей, в одном из оппозиционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он сначала испугался, побежал к главе района и написал благороднейшее оправдательное письмо в Москву, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в тайных уголках своего сердца был необыкновенно польщен. Он чуть не спал с экземпляром присланного ему сборника, а днем прятал его под матрас и даже не пускал домработницу убирать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграмма так и не пришла. Тогда же он и со мной помирился, что свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца.

II

Я не говорю, что его совсем не задело, но теперь я уверен, что он мог бы и дальше вешать про своих аравитян, если бы дал нужные пояснения. Но он тогда загордился и решил, что его карьера сломана "вихрем обстоятельств". А если честно, то настоящая причина смены деятельности – это возобновившееся предложение от Варвары Петровны Ставрогиной, жены генерал-лейтенанта и богатой дамы, стать наставником и другом ее единственного сына, с прекрасным вознаграждением. Впервые ей предложили это еще в Берлине, вскоре после того, как он овдовел. Его первая жена была легкомысленной девушкой из нашей области, на которой он женился по молодости и, кажется, натерпелся с ней горя из-за нехватки денег и других дели-

катных причин. Она умерла в Париже, последние три года живя отдельно, оставив ему пятилетнего сына – "плод первой, радостной и еще не омраченной любви", как однажды сказал Степан Трофимович. Мальчика сразу отправили в Россию, где он рос у каких-то дальних родственников в глуши. Степан Трофимович тогда отказался от предложения Варвары Петровны и быстро женился во второй раз, даже не прошло и года, на молчаливой немке из Берлина, без особой необходимости.

Но были и другие причины отказаться от места воспитателя: его манила слава одного известного профессора, и он рвался на кафедру, чтобы испытать свои силы. А теперь, с опаленными крыльями, он вспомнил о предложении, которое и раньше его колебало. Внезапная смерть второй жены, не прожившей с ним и года, все решила. Скажу прямо: все устроилось благодаря пламенному участию и классической дружбе Варвары Петровны, если так можно выразиться о дружбе. Он бросился в объятия этой дружбы, и все закрепилось на двадцать лет. Я употребил выражение "бросился в объятия", но не дай бог кому-то подумать о чем-то лишнем; эти объятия нужно понимать в самом высоконравственном смысле. Тонкая и деликатная связь соединила эти два замечательных существа навеки.

Место воспитателя было принято еще и потому, что небольшое имение, оставшееся после первой жены Степана Трофимовича, находилось рядом со Скворешниками, великолепным загородным поместьем Ставрогиных в нашей области. К тому же всегда можно было, в тиши кабинета и не отвлекаясь университетскими делами, посвятить себя науке и обогатить отечественную литературу глубокими исследованиями. Исследований не случилось, но зато оказалось возможным простоять всю оставшуюся жизнь, более двадцати лет, "воплощенным укором" перед отечеством, как сказал один поэт:

Воплощённой укоризной...

.....

Ты стоял перед Отчизной,
Либерал-идеалист.

Но то лицо, о котором писал классик, возможно, и имело право всю жизнь так выглядеть, если бы захотело, хотя это и утомительно. Наш же Степан Трофимович, по правде, был лишь бледной копией подобных типажей, да и долго стоять уставал, предпочитая прилечь на диван. Но даже лёжа на боку, он умудрялся сохранять вид воплощённой укоризны – надо отдать ему должное, тем более что для нашей провинции и этого было достаточно. Посмотрели бы вы на него в местном клубе, когда он садился за карты. Весь его вид кричал: "Карты! Я играю с вами в этот хаос! Разве это совместимо? Кто за это ответит? Кто разрушил мою жизнь и превратил её в балаган? Эх, гибнет Россия!" – и он с достоинством бил червей козырем.

А по правде, он ужасно любил играть в карты, за что, особенно в последнее время, часто и неприятно сталкивался с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. Но об этом позже. Замечу лишь, что он был человеком совестливым (иногда), а потому часто грустил. На протяжении всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной он раза три-четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами "гражданскую скорбь", то есть просто в хандру, но это словечко очень нравилось уважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь оберегала его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в опеке, потому что становился иногда очень странным: в разгар самой возвышенной скорби он вдруг начинал смеяться самым простонародным образом. Находили минуты, когда он даже о себе начинал говорить с юмором. Но ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмора. Это была женщина-классик, женщина-меценат, действовавшая исключительно из высших соображений. Капитальным было двадцатилетнее влияние этой выдающейся дамы на её бедного друга. О ней надо бы поговорить отдельно, что я и сделаю.

III

Есть дружбы странные: оба друга словно хотят съесть друг друга, всю жизнь так живут, а расстаться не могут. Расстаться даже нельзя: взбалмошный друг, разорвавший связь, первый же заболит и, возможно, умрёт, если это случится. Я совершенно уверен, что Степан Трофимович несколько раз, и иногда после самых интимных излияний с Варварой Петровной с глазу на глаз, по её уходе вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.

Бывают странные отношения: вроде бы люди друг друга готовы сожрать, всю жизнь так живут, а расстаться не могут. Даже нельзя им расстаться: тот, кто первым закапризничает и порвет связь, тут же заболит и, возможно, умрет. Я точно знаю, что Сергей Трофимович несколько раз, и порой после самых откровенных излияний с Верой Петровной с глазу на глаз, вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.

Происходило это без всякой аллегии, так сильно, что однажды даже кусок штукатурки отвалился. Спросите, откуда я знаю такие тонкости? А что, если я сам был свидетелем? Что, если сам Сергей Трофимович не раз рыдал у меня на плече, живописуя передо мной всю свою подноготную? (И чего только не говорил!) Но вот что почти всегда случалось после этих рыданий: на завтра он уже готов был казнить себя за неблагодарность; спешно звал меня к себе или сам прибегал, чтобы сообщить, что Вера Петровна – «ангел чести и деликатности, а он – полная противоположность». Он не только ко мне прибегал, но и ей самой неоднократно описывал всё это в красноречивых сообщениях и признавался под полной подписью, что, например, вчера он рассказывал постороннему, что она держит его из тщеславия, завидует его уму и талантам, ненавидит его, но боится показать свою ненависть открыто, опасаясь, что он уйдет и тем повредит ее репутации в волонтерском движении; что из-за этого он себя презирает и решил покончить с собой, а от нее ждет последнего слова, которое всё решит, и так далее, и тому подобное. Можете представить, до какой истерики доходили порой нервные срывы этого невиннейшего из всех пятидесятилетних инфантилов! Я сам однажды читал одно из таких его сообщений после какой-то ссоры из-за ерунды, но ядовитой по исполнению. Я ужаснулся и умолял не отправлять.

— Не могу больше... так будет честнее... это мой долг... я просто умру, если не признаюсь ей во всем, абсолютно во всем! — почти в бреду твердил он и все-таки отправил сообщение.

В этом и была вся разница между ними. Варвара Петровна ни за что бы не отправила такое сообщение. Он вообще любил писать, до безумия. Писал ей даже тогда, когда они жили в одном доме, а в особо истеричные моменты мог и два сообщения в день прислать. Я точно знаю, что она всегда внимательно читала каждое его сообщение, даже если их было два в день. Прочитав, она складывала их в отдельную папку, помечала и сортировала. И, конечно, хранила их в своей памяти. Потом она выдерживала его целый день без ответа и встречалась с ним как ни в чем не бывало, словно ничего особенного вчера не произошло. Постепенно она его так выдрессировала, что он сам уже не смел напоминать о вчерашнем, а только робко заглядывал ей в глаза. Но она ничего не забывала, а он иногда забывал слишком быстро и, ободренный ее спокойствием, нередко в тот же день смеялся и дурачился с друзьями, если они заходили выпить пива. С какой, должно быть, злостью она смотрела на него в эти минуты, а он ничего не замечал! Разве что через неделю, через месяц или даже через полгода, в какой-нибудь неожиданный момент, вспомнив какую-нибудь фразу из того сообщения, а потом и все сообщение целиком, со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и так мучился, что у него начинались его обычные приступы, как будто от отравления. Эти приступы, похожие на отравление, были в некоторых случаях обычным исходом его нервных потрясений и представляли собой довольно странную особенность его организма.

Варвара Петровна действительно наверняка и очень часто его ненавидела. Но он одного в ней не замечал до самого конца: того, что он стал для нее как сын, ее творением, даже, можно сказать, ее изобретением. Стал частью ее самой, и что она заботится о нем вовсе не только

из-за «зависти к его талантам». И как, должно быть, ее оскорбляли такие предположения! В ней таилась какая-то невыносимая любовь к нему, среди постоянной ненависти, ревности и презрения. Она оберегала его от каждой мелочи, нянчилась с ним двадцать два года, не спала бы ночами от беспокойства, если бы дело касалось его репутации волонтера, общественного деятеля. Она его придумала и в свою выдумку сама же первая и поверила. Он был чем-то вроде ее мечты... Но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже полного подчинения. И злопамятна была невероятно. Кстати, расскажу два случая.

IV

IV

Как-то раз, ещё когда только пошли слухи о мобилизации, когда вся страна замерла в тревожном ожидании, к Варваре Петровне заехал один столичный чиновник из администрации президента, человек с большими связями и вхожий в высокие кабинеты. Варвара Петровна очень ценила такие визиты, потому что после смерти мужа её контакты в высших кругах становились всё слабее и слабее, а потом и вовсе сошли на нет. Чиновник просидел у неё час и пил чай. Кроме них никого не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и представила. Чиновник о нём что-то слышал раньше или сделал вид, что слышал, но за чаем почти не обращал на него внимания. Разумеется, Степан Трофимович не мог ударить в грязь лицом, да и манеры у него были безупречные. Хотя происхождение у него, кажется, было не самое знатное, но так получилось, что он с детства воспитывался в одном богатом доме в Москве и, следовательно, был хорошо воспитан; говорил по-французски как настоящий француз. Таким образом, чиновник должен был сразу понять, с какими людьми Варвара Петровна общается, даже в провинциальной глуши. Однако вышло не совсем так. Когда чиновник подтвердил, что слухи о частичной мобилизации – правда, Степан Трофимович вдруг не сдержался и воскликнул "Ура!", даже сделал какой-то жест рукой, изображавший восторг. Воскликнул он негромко и даже изящно; возможно, восторг был наигранным, а жест отретпетирован перед зеркалом за полчаса до чаепития; но, видимо, что-то пошло не так, и чиновник позволил себе слегка улыбнуться, хотя тут же очень вежливо вставил фразу о всеобщем понимании необходимости защиты интересов страны в сложившейся ситуации. Затем он быстро уехал и, прощаясь, протянул Степану Трофимовичу два пальца. Вернувшись в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, делая вид, что ищет что-то на столе; но вдруг повернулась к Степану Трофимовичу и, бледная, со сверкающими глазами, прошептала:

— Я тебе этого никогда не забуду!

На следующий день она встретила со своим другом как ни в чём не бывало; о случившемся никогда не упоминала. Но тринадцать лет спустя, в один трагический момент, она вспомнила и упрекнула его, и так же точно побледнела, как и тринадцать лет назад, когда впервые упрекала. Только два раза за всю свою жизнь она сказала ему: "Я тебе этого никогда не забуду!" Случай с чиновником был уже вторым случаем; но и первый случай в свою очередь так характерен и, кажется, так много значил в судьбе Степана Трофимовича, что я решаюсь и о нём упомянуть.

Это было в 2022 году, весной, в мае, сразу после того, как в Скворешниках получили известие о смерти генерал-лейтенанта Ставрогина, человека легкомысленного, умершего от проблем с сердцем по дороге на фронт, куда он ехал по назначению в зону СВО. Варвара Петровна овдовела и надела траур. Правда, она не могла сильно горевать, потому что последние четыре года жила с мужем отдельно, из-за разных характеров, и выплачивала ему содержание. (У самого генерал-лейтенанта было только скромное состояние и зарплата, плюс звание и связи; а всё богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого бизнесмена.) Тем не менее, она была потрясена неожиданным известием и ушла в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович находился при ней неотлучно.

Дело было в двадцать втором году, весной, в мае, вскоре после того, как известие о гибели генерал-майора Ставрова дошло до их городка. Говорили, что он умер от сердечного приступа где-то под Херсоном, куда его перебросили после начала "специальной операции". Варвара Петровна, его вдова, облачилась в траур. Хотя, по правде говоря, сильной скорби она не испытывала: последние годы они жили раздельно, не сошлись характерами, и она выплачивала ему содержание. (У самого генерал-майора, кроме звания и связей, ничего не было, а все состояние и дом принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери покойного владельца крупной IT-компании.) Тем не менее, внезапность известия ее потрясла, и она уединилась. Разумеется, Степан Трофимович был при ней неотлучно.

Май был в полном разгаре; вечера стояли дивные. Расцветала сирень. Оба друга встречались каждый вечер в саду и до поздней ночи сидели в беседке, делясь чувствами и мыслями. Моменты были почти поэтические. Варвара Петровна, под впечатлением перемены в своей судьбе, говорила больше обычного. Она словно искала утешения у своего друга, и так продолжалось несколько вечеров. Внезапно Степана Трофимовича осенила странная мысль: "А не рассчитывает ли безутешная вдова на него? Не ждет ли, когда закончится год траура, предложения руки и сердца?" Мысль циничная, но ведь утонченность натуры иногда способствует склонности к циничным мыслям, просто из-за многогранности развития. Он стал присматриваться и обнаружил, что все на то указывает. Он задумался: "Состояние огромное, это да, но..." Действительно, Варвара Петровна не была красавицей: высокая, худощавая женщина с длинным лицом, напоминавшим лошадиное. Степан Трофимович все больше колебался, мучился сомнениями, даже всплакнул пару раз от нерешительности (плакал он довольно часто). По вечерам же, в беседке, его лицо невольно стало выражать что-то капризное и насмешливое, что-то кокетливое и в то же время высокомерное. Это происходило как-то нечаянно, произвольно, и чем благороднее человек, тем это заметнее. Бог весть, как тут судить, но вполне вероятно, что в сердце Варвары Петровны не было ничего такого, что могло бы оправдать подозрения Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она свою фамилию Ставрова на его, пусть даже и столь известную. Возможно, это была всего лишь женская игра, проявление бессознательной потребности, столь естественной в иных чрезвычайных обстоятельствах. Впрочем, не ручаюсь; непостижима глубина женского сердца и по сей день! Но продолжу.

Май был в самом разгаре; вечера стояли изумительные. Расцвела черёмуха, и её сладкий аромат плыл в воздухе. Они сходились каждый вечер в саду и просиживали до поздней ночи в беседке, делясь друг с другом своими чувствами и мыслями. Минуты бывали по-настоящему поэтические. Варвара Петровна, под впечатлением от перемен в своей жизни, говорила больше обычного. Она словно тянулась к сердцу своего старого друга, и так продолжалось несколько вечеров подряд.

Одна странная мысль вдруг осенила Степана Трофимовича: "Не рассчитывает ли эта неутешная вдова на меня? Не ждёт ли, когда закончится год траура, предложения руки и сердца?" Мысль, конечно, циничная, но, как известно, утонченность натуры иногда способствует склонности к циничным мыслям – просто из-за широты взглядов. Он стал присматриваться и обнаружил, что всё действительно похоже на то. Он задумался: "Состояние у неё огромное, это правда, но..." Действительно, Варвара Петровна не была красавицей. Высокая, сухощавая женщина с землистым цветом лица и удлинёнными чертами, напоминавшими лошадиные.

Степан Трофимович всё больше колебался, мучился сомнениями, даже всплакнул пару раз от нерешительности (плакал он довольно часто). А по вечерам, в беседке, его лицо невольно стало выражать что-то капризное и насмешливое, что-то кокетливое и в то же время высокомерное. Это происходило как-то нечаянно, произвольно, и чем благороднее человек, тем заметнее это становится. Бог знает, как тут судить, но вероятнее всего, в сердце Варвары Петровны и не зарождалось ничего такого, что могло бы оправдать подозрения Степана Трофимо-

вичка. Да и не променяла бы она свою фамилию Ставрогина на его, пусть даже и столь известную. Возможно, это была всего лишь женская игра, проявление бессознательной потребности, столь естественной в определённых обстоятельствах. Впрочем, не поручусь; женская душа – потёмки и по сей день! Но продолжу.

Надо полагать, она довольно быстро разгадала странное выражение лица своего друга. Она была наблюдательна и проницательна, а он порой слишком наивен. Но вечера шли своим чередом, и разговоры оставались такими же поэтичными и интересными. И вот однажды, с наступлением ночи, после особенно оживлённой беседы, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором жил Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелёк, стоявший почти в саду, из огромного хозяйского дома.

Он только вошёл к себе и, в задумчивости, взял сигару, но не успел её закурить. Усталый, он остановился перед открытым окном, глядя на лёгкие, как пух, белые облачка, скользившие вокруг ясного месяца. Вдруг лёгкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Перед ним снова стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего несколько минут назад. Её лицо казалось почти синим, губы были сжаты и дрожали. Секунд десять она смотрела ему в глаза молча, твёрдым, неумолимым взглядом, и вдруг прошептала скороговоркой:

— Я никогда вам этого не прощу!

— Я тебе этого никогда не забуду!

Степан Трофимович, уже лет через десять, рассказывал мне эту печальную историю шепотом, предварительно заперев дверь. Он клялся, что тогда оцепенел так, что не видел и не слышал, как Варвара Петровна ушла. А так как она ни разу потом не обмолвилась об этом случае, и все пошло своим чередом, он всю жизнь склонялся к мысли, что это была галлюцинация перед болезнью. Тем более, что в ту же ночь он и правда слег с температурой на две недели, что, кстати, прекратило и встречи в беседке.

Но, несмотря на надежду, что это был лишь плод воображения, он каждый день, всю жизнь, ждал продолжения, развязки этой истории. Он не верил, что все так и закончилось! А если так, то как же странно он должен был иногда смотреть на своего друга.

У

Она сама придумала ему имидж, в котором он и проходил всю жизнь. Имидж был элегантным и характерным: длинный черный пиджак, застегнутый почти доверху, но сидевший безупречно; мягкая шляпа (летом – соломенная) с широкими полями; белый батистовый галстук с крупным узлом и длинными концами; трость с серебряным набалдашником, и волосы до плеч. Он был русым, и только недавно волосы начали немного седеть. Усы и бороду он брил. Говорили, в молодости он был очень красив. Но, по-моему, и в зрелом возрасте он был необыкновенно представителен. Да и какая старость в пятьдесят три года? Но, из некоторого гражданского кокетства, он не только не молодился, но как бы подчеркивал солидность своих лет, и в своем костюме, высокий, худощавый, с волосами до плеч, походил на патриарха или, скорее, на фото какого-нибудь известного блогера из довоенных времен, особенно когда сидел летом в саду на скамейке под кустом цветущей сирени, опираясь обеими руками на трость, с открытой книгой рядом и поэтически задумавшись над закатом. Насчет книг, кстати, замечу, что под конец он как-то охладел к чтению. Впрочем, это уже совсем под конец. Газеты и журналы, которые Варвара Петровна выписывала в огромном количестве, он читал постоянно. Успехами современной литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлекался было когда-то изучением современной политики, внутренней и внешней, но вскоре, махнув рукой, оставил это занятие. Бывало и такое: возьмет с собой в сад какой-нибудь серьезный научный труд, а в кармане прячет развлекательное чтиво из Telegram. Но, впрочем, это мелочи.

Замечу в скобках и о фото блогера: Варвара Петровна впервые увидела эту картинку, когда еще девочкой училась в частной школе в Москве. Она тут же влюбилась в изображение,

как все девочки в таких заведениях влюбляются во что ни попадя, а заодно и в своих учителей, особенно по чистописанию и рисованию. Но любопытны не свойства девочки, а то, что даже в пятьдесят лет Варвара Петровна хранила эту картинку среди самых дорогих сердцу вещей, так что, возможно, только поэтому и придумала Степану Трофимовичу имидж, немного похожий на тот, что был на фото. Но и это, конечно, пустяк.

К слову о портрете Кукольника: Варвара Петровна впервые увидела эту картинку еще девочкой, когда училась в частной гимназии в Москве. Она сразу же влюбилась в портрет, как это часто бывает с гимназистками, которые влюбляются во что попало, включая своих учителей, особенно каллиграфии и рисования. Но интересно не это девичье увлечение, а то, что даже в пятьдесят лет Варвара Петровна хранила эту картинку среди самых дорогих для неё вещей. Возможно, именно поэтому она и Степану Трофимовичу придумала костюм, немного похожий на тот, что был на портрете. Впрочем, это, конечно, мелочь.

В первые годы, или, точнее, в первой половине жизни у Варвары Петровны, Степан Трофимович еще мечтал о каком-то большом труде и каждый день всерьез собирался его писать. Но во второй половине, кажется, и вовсе забыл о своих замыслах. Все чаще и чаще он говорил нам: «Кажется, я готов к работе, материалы собраны, но вот не пишется! Ничего не выходит!» – и опускал голову в унынии. Без сомнения, это должно было придать ему еще больше величия в наших глазах, как страдальцу науки; но самому ему хотелось чего-то другого. «Забыли меня, никому я не нужен!» – вырывалось у него не раз. Эта хандра особенно усилилась в конце десятых годов. Варвара Петровна поняла, что дело серьезное. Она не могла вынести мысли о том, что её друг забыт и никому не нужен. Чтобы развеять его тоску, а заодно и напомнить о его былой славе, она свозила его в Москву, где у нее было несколько знакомств в литературных и научных кругах. Но оказалось, что и Москва не помогла.

В первые годы, ну, ладно, в первую половину жизни у Варвары Петровны, Степан Трофимович ещё тешил себя мыслями о каком-то труде, каждый день собирался писать. Но потом, видимо, и думать забыл. Всё чаще говорил: "Вроде бы, готов, материалы собраны, а не пишется! Ничего не выходит!" – и голову опускал. Наверное, это должно было придать ему ещё больше значимости в наших глазах, как страдальцу науки. Но ему самому хотелось другого. "Забыли меня, никому я не нужен!" – вырывалось у него порой. Особенно сильно эта хандра накрыла его в конце десятых. Варвара Петровна поняла, что дело серьёзное. Да и не могла она смириться с мыслью, что её друг забыт и никому не нужен. Чтобы развеять его тоску, а заодно и напомнить о себе, она свозила его в Москву, где у неё были связи в литературных и научных кругах. Но и Москва не помогла.

Время тогда было странное. Наступило что-то новое, непохожее на прежнюю тишину, что-то странное, но ощущаемое повсюду, даже в Скворешниках. Доходили разные слухи. Факты были более или менее известны, но было ясно, что кроме фактов появились какие-то идеи, и их было слишком много. Это и смущало: невозможно было понять, что именно эти идеи означают. Варвара Петровна, как женщина, во всём подозревала какой-то секрет. Она начала читать новости, телеграм-каналы, какие-то запрещённые источники (ей всё это доставали), но у неё только голова заболела. Она писала письма, но отвечали мало, и чем дальше, тем непонятнее. Степана Трофимовича попросили объяснить ей "все эти идеи" раз и навсегда, но его объяснения её не удовлетворили. Он смотрел на всё это движение свысока, всё сводил к тому, что его самого забыли и он никому не нужен. Наконец, о нём вспомнили, сначала в каких-то зарубежных источниках, как о страдальце, а потом и в Москве, как о бывшей звезде. Даже сравнивали его с каким-то диссидентом. Потом кто-то написал, что он уже умер, и пообещал некролог. Степан Трофимович тут же "воскрес" и приободрился. Вся его надменность по отношению к современникам исчезла, и в нём загорелась мечта: примкнуть к движению и показать себя. Варвара Петровна тут же снова во всё поверила и засуетилась. Решили ехать в Москву, чтобы во всём разобраться на месте, вникнуть лично и, если возможно, включиться

в новую деятельность. Между прочим, она заявила, что готова основать свой телеграм-канал и посвятить ему всю свою жизнь. Увидев, что дело дошло до этого, Степан Трофимович стал ещё надменнее, а в дороге начал относиться к Варваре Петровне почти покровительственно, что она, конечно, запомнила. Впрочем, у неё была и другая важная причина для поездки – нужно было восстановить связи. Нужно было напомнить о себе, хотя бы попытаться. А официальным предлогом была встреча с единственным сыном, который заканчивал учёбу в одном из московских вузов.

VI

Они съездили в Питер и прожили там почти всю зиму. Но к Великому посту всё лопнуло, как мыльный пузырь. Надежды рухнули, а неразбериха не только не рассеялась, но стала еще противнее. Во-первых, связи на высоком уровне почти не сложились, разве что в микроскопическом виде и с унижительными уговорами. Обиженная Варвара Петровна с головой окунулась в "новые идеи" и начала устраивать у себя вечера. Пригласила блогеров и журналистов, и их сразу же привели толпами. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Таких персонажей она еще не видела. Тщеславные до невозможности, но совершенно открыто, как будто это их обязанность. Некоторые (хотя и далеко не все) являлись даже под градусом, словно видя в этом особую, только что открытую прелесть. Все чем-то гордились до странности. На лицах было написано, что они только что узнали какой-то чрезвычайно важный секрет. Ругались, считая это за доблесть. Довольно трудно было понять, что именно они делают; но тут были критики, колумнисты, сценаристы, сатирики, разоблачители. Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда, откуда управляли трендами. До этих "управляющих" было невероятно сложно добраться, но его они встретили радушно, хотя, конечно, никто из них ничего о нем не знал и не слышал, кроме того, что он "представляет собой идею". Он так ловко маневрировал вокруг них, что даже зазвал их пару раз в салон Варвары Петровны, несмотря на их "олимпийский" вид. Эти были очень серьезны и очень вежливы; держались с достоинством; остальные явно их побаивались; но было очевидно, что им некогда. Появились и две-три прежние медийные персоны, оказавшиеся тогда в Питере и с которыми Варвара Петровна давно поддерживала хорошие отношения. Но, к ее удивлению, эти настоящие и уже признанные знаменитости были тише воды, ниже травы, а некоторые из них просто льнули ко всей этой новой тусовке и позорно заискивали перед ними. Сначала Степану Трофимовичу повезло; за него ухватились и стали продвигать на публичных мероприятиях. Когда он впервые вышел на сцену на одном из таких мероприятий, раздались бурные аплодисменты, не смолкавшие минут пять. Он со слезами вспоминал об этом девять лет спустя, впрочем, скорее из-за своей артистичной натуры, чем из благодарности. "Клянусь тебе и готов поспорить, – говорил он мне сам (но только мне и по секрету), – что никто из всей этой публики ничего обо мне не знал!" Признание замечательное: значит, был в нем острый ум, если он тогда же, на сцене, мог так ясно понять свое положение, несмотря на все свое упоение; и, значит, не было в нем острого ума, если он даже девять лет спустя не мог вспомнить об этом без обиды. Его заставили подписаться под двумя или тремя коллективными обращениями (против чего – он и сам не знал); он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то "возмутительным поступком", и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемой насмешкой. Степан Трофимович намекал мне потом, в горькие минуты, что она с тех пор ему и позавидовала. Она, конечно, понимала, что ей не стоит связываться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностью, со всем женским истерическим нетерпением и, главное, все чего-то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы; но она больше слушала. Говорили об отмене цензуры и буквы "ъ", о замене русских букв латинскими, о вчерашнем аресте такого-то, о каком-то скандале в торговом центре, о пользе разделения России по национальностям со свободной федеративной связью, об

упразднении армии и флота, о восстановлении Польши до Днепра, о земельной реформе и листовках, об отмене наследования, семьи, детей и священников, о правах женщин, о доме Краевского, которого никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и т.д., и т.п. Было ясно, что в этой тусовке новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, даже весьма привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила о своей идее создать свой канал, к ней хлынуло еще больше народу, но тут же посыпались обвинения в том, что она капиталистка и эксплуатирует чужой труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности. Пожилой генерал Иван Иванович Дроздов, прежний друг и сослуживец покойного генерала Ставрогина, человек достойнейший (в своем роде) и которого все мы здесь знаем, до крайности упрямый и раздражительный, ужасно много евший и ужасно боявшийся атеизма, поспорил на одном из вечеров Варвары Петровны с одним известным блогером. Тот ему первым словом: "Вы, стало быть, генерал, если так говорите", то есть в том смысле, что хуже генерала он и ругательства не мог найти. Иван Иванович вспыхнул чрезвычайно: "Да, сударь, я генерал, и генерал-лейтенант, и служил государству, а ты, сударь, мальчишка и безбожник!" Произошел скандал непозволительный. На следующий день случай был освещен в прессе, и начали собирать подписи против "возмутительного поступка" Варвары Петровны, не захотевшей сразу же выгнать генерала. В одном журнале появилась карикатура, в которой язвительно изобразили Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке, в виде трех ретроградных друзей; к картинке были приложены и стихи, написанные местным поэтом специально для этого случая. Замечу от себя, что действительно у многих особ в генеральских чинах есть привычка смешно говорить: "Я служил государству...", то есть точно у них не то же самое государство, что и у нас, простых граждан, а особенное, их личное.

Оставаться дольше в Питере было, разумеется, невозможно, тем более что и Степана Трофимовича постигло окончательное фиаско. Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться. На последнем своем выступлении он задумал воздействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на уважение к своей "опале". Он бесспорно согласился с бесполезностью и комичностью слова "патриотизм"; согласился и с мыслью о вреде религии, но громко и твердо заявил, что хорошие берцы важнее Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя со сцены, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого. "Со мной обошлись как с отработанным материалом!" – бессмысленно лепетал он. Она ухаживала за ним всю ночь, давала ему успокоительное и до рассвета повторяла ему: "Вы еще нужны; вы еще проявите себя; вас оценят... в другом месте".

Разумеется, оставаться в Питере дольше не имело смысла, тем более что Степана Трофимовича постиг полный провал. Он не выдержал и начал отстаивать права искусства, а над ним только громче смеялись. На последнем своем выступлении он решил зайти с гражданской риторики, надеясь тронуть сердца и рассчитывая на уважение к своему "изгнанию". Он согласился с тем, что слово "отечество" бесполезно и смешно, согласился и с мыслью о вреде религии, но громко и твердо заявил, что берцы ниже Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, прямо на сцене, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой чуть живого. "Со мной обошлись как с использованным носком!" – бессвязно бормотал он. Она всю ночь за ним ухаживала, давала успокоительное и до рассвета повторяла: "Ты еще нужен; ты еще проявишь себя; тебя оценят... в другом месте".

На следующий день, рано утром, к Варваре Петровне явились пятеро блогеров, из них трое совершенно незнакомых, которых она никогда не видела. С серьезным видом они объявили ей, что рассмотрели вопрос о ее Telegram-канале и вынесли решение. Варвара Петровна никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-либо о ее канале. Решение состо-

яло в том, чтобы она, создав канал, немедленно передала его им вместе с деньгами, на правах свободного объединения; сама же уезжала в Скворешники, не забыв захватить с собой Степана Трофимовича, "который устарел". Из деликатности они соглашались признать за ней права собственности и выплачивать ей ежегодно одну шестую часть чистого дохода. Самое трогательное было то, что из этих пяти человек наверняка четверо не преследовали никакой корыстной цели, а хлопотали только во имя "общего дела".

"Мы уехали как потерянные, – рассказывал Степан Трофимович, – я ничего не мог понять и, помню, все бормотал под стук колес:

"Двач и Двач и Соловьев,

Соловьев и Двачик и Двачик..."

и черт знает что еще такое, вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился – как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти? О друзья мои! – иногда восклицал он нам в порыве, – вы не представляете, какая грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на барахолке, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, криво, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых детей! Нет! В наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я ничего не узнаю... Наше время настанет опять и опять направит на твердый путь все шатающееся, нынешнее. Иначе что же будет?.."

VII

VII

Сразу после возвращения из Москвы Варвара Петровна отправила своего друга за границу: «развеемся»; да и им обоим нужно было время, чтобы побыть врозь, она это чувствовала. Степан Трофимович поехал с энтузиазмом. «Там я оживу! – восклицал он. – Там я наконец-то займусь делом!» Но уже в первых письмах из Берлина он затянул свою обычную волюнку. «Сердце разбито, – писал он Варваре Петровне, – не могу ничего забыть! Здесь, в Берлине, всё напоминает мне о прошлом, о первых восторгах и первых разочарованиях. Где она? Где они обе сейчас? Где вы, два ангела, которых я не заслуживал? Где мой сын, мой любимый сын? Где, в конце концов, я сам, прежний я, сильный и непоколебимый, как скала, когда теперь какой-нибудь Волков, православный дурак с бородой, может разбить мою жизнь на части?» и так далее, и так далее. Что касается сына Степана Трофимовича, то он видел его всего два раза в жизни: когда тот родился и недавно в Москве, где молодой человек готовился поступать в университет. Всю свою жизнь мальчик, как уже говорилось, воспитывался у теток в N-ской области (на содержании Варвары Петровны), в семистах километрах от Скворешников. А Волков – это был просто местный бизнесмен, владелец магазина, большой оригинал, археолог-любитель, страстный коллекционер старинных вещей, иногда споривший со Степаном Трофимовичем из-за своих знаний, а главное, из-за своих взглядов. Этот уважаемый бизнесмен, с седой бородой и в больших очках, не доплатил Степану Трофимовичу четырехста тысяч рублей за несколько гектаров леса, купленных в его поместье (рядом со Скворешниками). Хотя Варвара Петровна щедро обеспечила своего друга, отправляя его в Берлин, Степан Трофимович особенно рассчитывал на эти четырехста тысяч перед поездкой, вероятно, на какие-то свои секретные расходы, и чуть не плакал, когда Волков попросил подождать месяц, хотя и имел право на такую отсрочку, потому что первые взносы он сделал заранее, чуть ли не за полгода, из-за тогдашней острой нужды Степана Трофимовича. Варвара Петровна жадно прочитала это первое письмо и, подчеркнув карандашом восклицание: «Где они обе?», отметила дату и заперла в шкатулку. Он, конечно, вспоминал о своих покойных женах. Во втором письме из Берлина песня варьировалась: «Работаю по двенадцать часов в сутки ("хоть бы по одиннадцать", – проворчала Варвара Петровна), копаюсь в библиотеках, сверяюсь, выписываю, бегаю; был у профессоров. Возобновил знакомство с прекрасной семьей Орловых. Какая пре-

лесть Надежда Николаевна даже сейчас! Передает вам привет. Ее молодой муж и все три племянника в Берлине. По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас почти афинские вечера, но только по тонкости и изяществу; всё благородно: много музыки, испанские мотивы, мечты о всеобщем обновлении, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет, пробивающийся сквозь тьму, но и на солнце есть пятна! Мой друг, благородный, верный друг! Я сердцем с вами и ваш, всегда и везде, даже в стране дураков, о которой мы так часто говорили в Москве перед отъездом. Вспоминаю с улыбкой. Переехав границу, почувствовал себя в безопасности, странное, новое ощущение, впервые за столько лет...» и так далее, и так далее.

«Всё это ерунда!» – решила Варвара Петровна, откладывая письмо. – «Если он до утра пропадает в этих своих «афинских вечерах», то явно не сидит над книгами. Что, пьяный писал? И эта Дундасова, с чего вдруг мне кланяться вздумала? Впрочем, пусть развлекается...»

Фраза «*dans le pays de Makar et de ses veaux*» означала: «за тридцать земель». Степан Трофимович нарочно переводил русские поговорки на французский самым нелепым образом, хотя прекрасно знал язык и мог перевести правильно. Но он делал это ради особого шика и считал остроумным.

Но развлекался он недолго, и четырех месяцев не прошло, как примчался обратно в Скворешники. Последние его сообщения состояли из сентиментальных излияний любви к отсутствующей подруге и буквально были смочены слезами разлуки. Есть люди, которые чрезвычайно привязываются к дому, как комнатные собачки. Встреча друзей была бурной. Но через пару дней всё вернулось на круги своя, стало даже скучнее, чем прежде. «Друг мой, – говорил мне Степан Трофимович через две недели, по большому секрету, – друг мой, я сделал ужасное открытие: *je suis un простой приживальщик, et rien de plus! Mais r-r-rien de plus!*»

VIII

Затем наступило затишье, которое тянулось почти все эти девять лет. Истерические всплески и рыдания у меня на плече, случавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благополучию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не растолстел за это время. Только нос слегка покраснел, да в голосе прибавилось благодушия. Вокруг него постепенно образовался кружок приятелей, небольшой, но постоянный. Варвара Петровна хоть и не принимала активного участия в этих встречах, все мы признавали ее нашей покровительницей. После петербургских событий она окончательно обосновалась в нашем городе: зимой жила в своей квартире, а летом – в загородном доме. Никогда прежде она не пользовалась таким влиянием в губернском обществе, как в последние семь лет, вплоть до назначения нового губернатора. Прежний губернатор, незабвенный и мягкий Иван Осипович, приходился ей дальним родственником и когда-то был ею благодетельствован. Его жена трепетала при одной мысли, что может не угодить Варваре Петровне, а поклонение губернской элиты доходило до чего-то непристойного. Степану Трофимовичу, разумеется, тоже было хорошо. Он стал членом клуба, степенно проигрывал в карты и заслужил почет, хотя многие видели в нем лишь "ученого". Когда Варвара Петровна позволила ему переехать в отдельную квартиру, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза два в неделю; бывало весело, особенно когда он не скупился на шампанское. Вино заказывали в том же магазине Андреева. Счета оплачивала Варвара Петровна раз в полгода, и день расплаты почти всегда совпадал с каким-нибудь происшествием.

Старейшим членом кружка был Липутин, губернский чиновник, уже немолодой, известный своими либеральными взглядами и репутацией атеиста. Он был женат во второй раз на молоденькой и хорошенькой девушке, получил за ней приданое и, кроме того, имел трех взрослых дочерей. Всю семью держал в строгости, был невероятно скуп и службой скопил себе домик и небольшой капитал. Человек он был беспокойный, да еще и в невысоком чине; в городе его не особо уважали, а в высшие круги не принимали. К тому же он был явным и не раз наказанным сплетником, причем наказан был ощутимо: однажды – офицером, а в другой раз – уважаемым отцом семейства, местным фермером. Но мы ценили его острый ум, любо-

знательность и своеобразную злую веселость. Варвара Петровна его не любила, но он всегда умел к ней подлизаться.

Самым старым членом нашего кружка был Липутин, бывший чиновник из областной администрации, уже немолодой, известный своими либеральными взглядами и репутацией атеиста. Он был женат во второй раз на молодой и привлекательной женщине, получил за ней хорошее приданое, и у него было три взрослые дочери. Семью держал в строгости, был очень скуп, но благодаря службе смог накопить на дом и небольшой капитал. Человек он был беспоконный, к тому же не занимал высокого положения. В городе его не особо уважали, а в высшие круги не принимали. Ко всему прочему, он был известен как сплетник, за что не раз получал по заслугам – однажды от офицера, а в другой раз от уважаемого отца семейства, фермера. Но мы ценили его острый ум, любознательность и своеобразное злое чувство юмора. Варвара Петровна его не любила, но он всегда умел найти к ней подход.

Она не любила и Шатова, который присоединился к кружку только в прошлом году. Шатов был студентом, но его отчислили из университета после участия в студенческих протестах. В детстве он был учеником Степана Трофимовича, а родился в семье крепостных Варвары Петровны, от ее покойного камердинера Павла Федорова, и она ему покровительствовала. Она не любила его за гордость и неблагодарность и не могла простить ему, что после исключения из университета он не сразу обратился к ней за помощью. Напротив, он даже не ответил на ее письмо и предпочел устроиться репетитором к какому-то бизнесмену. Вместе с семьей этого бизнесмена он уехал за границу, скорее в качестве сопровождающего, чем гувернера, но ему очень хотелось за границу. С детьми также занималась гувернантка, энергичная русская девушка, которую взяли на работу перед самым отъездом из-за низкой зарплаты. Через пару месяцев бизнесмен уволил ее "за вольнодумство". Шатов последовал за ней, и вскоре они поженились в Женеве. Они прожили вместе около трех недель, а потом расстались, как свободные люди, конечно, из-за финансовых трудностей. Долгое время он скитался по Европе, перебивался случайными заработками. Говорили, что он чистил обувь на улицах и работал грузчиком в каком-то порту. Наконец, около года назад он вернулся в родные края и поселился у своей старой тетки, которая умерла через месяц. Со своей сестрой Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившей у нее в качестве фаворитки, он общался редко и отстраненно. С нами он был угрюм и немногословен, но иногда, когда затрагивали его убеждения, он болезненно раздражался и становился несдержанным на язык. "Шатова сначала нужно связать, а потом уже с ним разговаривать", – шутил иногда Степан Трофимович, но он любил его. За границей Шатов радикально изменил свои прежние социалистические взгляды и перешел в противоположную крайность. Он был одним из тех русских идеалистов, которых внешне поражает какая-то сильная идея, и она тут же подавляет их, иногда навсегда. Они не в силах справиться с ней, но верят страстно, и вся их жизнь проходит в муках под камнем, который их раздавил. Внешность Шатова соответствовала его убеждениям: он был неуклюж, светловолос, косматый, невысокого роста, с широкими плечами, толстыми губами, густыми нависшими бровями, нахмуренным лбом и неприветливым, потупленным взглядом, словно чего-то стыдящимся. На его волосах всегда торчал один непослушный вихор. Ему было около двадцати семи или двадцати восьми лет. "Я больше не удивляюсь, что жена от него сбежала", – сказала однажды Варвара Петровна, внимательно его разглядывая. Он старался одеваться чисто, несмотря на свою крайнюю бедность. К Варваре Петровне он снова не обратился за помощью, а перебивался случайными заработками, подрабатывал у торговцев. Однажды он сидел в магазине, потом собирался уехать на корабле с товаром в качестве помощника приказчика, но заболел перед самым отплытием. Трудно представить, какую нищету он был способен переносить, даже не задумываясь об этом. Варвара Петровна после его болезни тайно переслала ему сто рублей. Он узнал об этом, подумал, принял деньги и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Она тепло приняла его, но он и тут обманул ее ожидания: присидел

всего пять минут, молча, тупо уставившись в пол и глупо улыбаясь, и вдруг, не дослушав ее, встал, поклонился боком, косолапо, смутился до крайности, задел и уронил ее дорогой рабочий столик, разбил его и вышел, едва живой от стыда. Липутин потом упрекал его за то, что он не отверг с презрением эти сто рублей, как от бывшей помещицы-деспотки, а принял и еще пошел благодарить. Он жил уединенно, на окраине города, и не любил, когда кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечера к Степану Трофимовичу он приходил постоянно и брал у него читать газеты и книги.

Варвара Петровна не жаловала и Шатова, который примкнул к кружку только в прошлом году. Когда-то он был студентом, но его отчислили из университета после скандала. В детстве он учился у Степана Трофимовича, а родился крепостным Варвары Петровны, сыном её покойного камердинера Павла Фёдорова, и она ему покровительствовала. Она не любила его за гордость и неблагодарность, и никак не могла простить, что после отчисления из университета он не приехал к ней сразу. Напротив, даже на её письмо не ответил и предпочёл наняться к какому-то бизнесмену, учить его детей. С семьёй этого бизнесмена он уехал за границу, скорее как присматривающий за детьми, чем гувернёр. Ему просто очень хотелось за границу. С детьми была ещё и гувернантка, бойкая русская девушка, которую взяли в дом перед самым отъездом, скорее из-за дешевизны. Через пару месяцев бизнесмен её выгнал "за вольные мысли". Шатов поехал за ней, и вскоре они поженились в Женеве. Прожили они вместе недели три, а потом расстались, как свободные люди; конечно, из-за бедности. Долго потом он скитался по Европе, жил непонятно чем; говорили, чистил обувь на улицах и работал грузчиком в каком-то порту. Наконец, год назад он вернулся в родные края и поселился со старой тёткой, которую похоронил через месяц. С сестрой Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, которая жила у неё как фаворитка, он общался редко. С нами он был угрюм и молчалив; но иногда, когда затрагивали его убеждения, раздражался и был резок на язык. "Шатова надо сначала связать, а потом с ним разговаривать", – шутил Степан Трофимович; но он любил его. За границей Шатов радикально изменил свои прежние социалистические взгляды и перешёл в противоположную крайность. Он был одним из тех русских, кого внезапно поражает какая-то сильная идея, и тут же придавливает их собой, иногда навсегда. Справиться с ней они не могут, а верят страстно, и вся их жизнь проходит в муках под камнем, который их раздавил. Внешность Шатова соответствовала его убеждениям: он был неуклюж, светловолос, косматый, невысокого роста, с широкими плечами, толстыми губами, густыми бровями, нахмуренным лбом, неприветливым взглядом. На голове у него всегда торчал вихор, который никак не приглаживался. Ему было лет двадцать семь или двадцать восемь. "Я не удивляюсь, что жена от него сбежала", – сказала Варвара Петровна, внимательно посмотрев на него. Он старался одеваться чисто, несмотря на бедность. К Варваре Петровне он не обращался за помощью, а перебивался чем мог; подрабатывал у бизнесменов. Однажды сидел в магазине, потом собирался уехать на корабле с товаром, помощником приказчика, но заболел перед отплытием. Трудно представить, какую нищету он мог переносить, даже не думая об этом. Варвара Петровна после его болезни тайно переслала ему сто рублей. Он узнал об этом, подумал, деньги принял и пришёл к Варваре Петровне поблагодарить. Она тепло его приняла, но он и тут обманул её ожидания: просидел всего пять минут, молча, уставившись в землю и глупо улыбаясь, и вдруг, не дослушав её, встал, поклонился боком, задел и уронил её дорогой рабочий столик, разбил его и вышел, едва живой от стыда. Липутин упрекал его за то, что он не отверг эти сто рублей, как от бывшей помещицы, а принял и ещё благодарить пошёл. Жил он уединённо, на окраине города, и не любил, когда к нему кто-то приходил. На вечера к Степану Трофимовичу он приходил и брал у него газеты и книги.

На вечера приходил и ещё один молодой человек, некто Виргинский, местный чиновник, чем-то похожий на Шатова, хотя и совершенно противоположный ему во всём остальном; но он тоже был "семейный". Жалкий и тихий молодой человек, лет тридцати, с образованием, но

больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тётку и сестру жены. Его жена и все её подруги придерживались радикальных взглядов, но это выглядело грубовато, как "идея, попавшая на улицу", по выражению Степана Трофимовича. Они всё брали из книг и, по первому слуху из столичных прогрессивных кругов, готовы были выбросить за окно всё, что советовали выбрасывать. Мадам Виргинская работала акушеркой; в юности она жила в Петербурге. Сам Виргинский был человеком чистой души, и я редко встречал более честный душевный огонь. "Я никогда не откажусь от этих светлых надежд", – говорил он мне с сияющими глазами. О "светлых надеждах" он говорил тихо, полушёпотом, как бы секретно. Он был высоким, но худым и узким в плечах, с редкими волосами рыжеватого оттенка. Он кротко принимал насмешки Степана Трофимовича над его мнениями, но иногда возражал ему серьёзно и ставил его в тупик. Степан Трофимович относился к нему ласково, да и ко всем нам относился по-отечески.

На вечера заглядывал еще один молодой человек, Виргинский, местный чиновник, чем-то похожий на Шатова, хотя, казалось, совершенно противоположный ему во всем остальном. Тоже, можно сказать, "семейный". Жалкий и очень тихий, лет тридцати, с хорошим образованием, хотя больше самоучка. Бедный, женат, содержит тещу и сестру жены. Жена его и все ее подруги придерживались самых радикальных взглядов, но это у них выходило как-то грубовато, словно "идея, попавшая на улицу", как выразился однажды Степан Трофимович по другому поводу. Все они черпали из Telegram-каналов и, по первому слуху из столичных либеральных тусовок, готовы были выбросить за окно все что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. Мадам Виргинская работала в городе акушеркой; в юности долго жила в Москве. Сам Виргинский был человеком редкой душевной чистоты, и редко я встречал более честный и искренний порыв. "Я никогда, никогда не откажусь от этих светлых надежд", – говорил он мне с сияющими глазами. О "светлых надеждах" он говорил всегда тихо, с нежностью, полушепотом, как бы по секрету. Он был довольно высокого роста, но очень худой и узкий в плечах, с необыкновенно редкими, рыжеватыми волосами. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми его мнениями он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьёзно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился по-отечески.

– Все вы из "недосидевших", – шуточно замечал он Виргинскому, – все подобные вам, хотя в вас, Виргинский, я и не замечал той ограниченности, какую встречал в Москве chez ses seminaristes, но все-таки вы "недосидевшие". Шатову очень хотелось бы "досидеть", но и он "недосидевший".

– А я? – спрашивал Липутин.

– А вы просто золотая середина, которая везде уживется... по-своему.

Липутин обижался.

Липутин дулся.

Рассказывали про Виргинского, и, к сожалению, информация была вполне достоверной, что жена его, не прожив с ним и года в официальном браке, вдруг заявила, что он ей больше не подходит и что она выбирает Лебядкина. Этот Лебядкин, какой-то приезжий, оказался потом личностью весьма сомнительной и вовсе даже не был отставным капитаном, как он сам себя называл. Он только умел крутить усы, пить и нести самый нелепый бред, какой только можно себе представить. Этот тип без всякого стеснения тут же к ним переехал, обрадовавшись возможности жить на чужих харчах, ел и спал у них и стал, в конце концов, относиться к хозяину свысока. Уверяли, что Виргинский, когда жена объявила ему об "отставке", сказал ей: "Дорогая, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю", но вряд ли он действительно произнес что-то настолько пафосное; напротив, говорят, он рыдал навзрыд. Однажды, недели через две после "отставки", все они, всем "семейством", поехали за город, в парк, пить чай вместе со знакомыми. Виргинский был как-то лихорадочно весел и участвовал в танцах; но вдруг, без

всякой видимой причины, схватил здорового Лебядкина, который выплясывал соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант так струхнул, что даже не сопротивлялся и почти все время, пока его таскали, молчал; но после этого обиделся со всей страстью благородного человека. Виргинский всю ночь стоял перед женой на коленях, умоляя о прощении; но прощения не добился, потому что так и не согласился пойти извиниться перед Лебядкиным; кроме того, его обвинили в скудости убеждений и в глупости; последнее потому, что, объясняясь с женщиной, он стоял на коленях. Капитан вскоре исчез и появился снова в нашем городе только совсем недавно, со своей сестрой и с новыми планами; но о нем позже. Неудивительно, что бедный "семьянин" отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О своих домашних делах он, впрочем, никогда у нас не рассказывал. Однажды только, возвращаясь со мной от Степана Трофимовича, он заговорил было издали о своем положении, но тут же, схватив меня за руку, горячо воскликнул:

— Это ничего; это всего лишь частный случай; это нисколько, нисколько не помешает "общему делу"!

Заглядывали к нам в кружок и случайные гости; приходил Лямшин, ходил капитан Картузов. Бывал какое-то время один любознательный старичок, но умер. Липутин как-то привел ссыльного ксендза Слоныцевского, и некоторое время его принимали из принципа, но потом перестали.

IX

IX

Ходили слухи по городу, что наш кружок – гнездо вольнодумства, разврата и безбожия, да и всегда так считали. А на самом деле у нас были самые невинные, милые, вполне русские, веселые либеральные разговоры. «Высший либерализм» и «высший либерал», то есть либерал без всякой цели, возможны только в России. Степану Трофимовичу, как и любому остроумному человеку, нужен был слушатель, и, кроме того, необходимо было ощущение, что он исполняет высший долг – распространяет идеи. А еще нужно было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселыми мыслями о России и «русском духе», о Боге вообще и о «русском Боге» в частности; повторить в сотый раз всем известные и всеми затверженные русские скандальные анекдоты. Не чурались мы и городских сплетен, причем иногда доходили до строгих высоконравственных суждений. Впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества; уверенно предсказывали, что Франция после эпохи авторитаризма сразу скатится до уровня второстепенной державы, и были совершенно уверены, что это произойдет ужасно быстро и легко. Давно уже мы предрекли Евросоюзу роль простого координатора в объединенной Европе и были совершенно убеждены, что весь этот многолетний вопрос, в наш век гуманности, технологий и скоростных магистралей, – просто пустяк. Но ведь «высший русский либерализм» иначе и не отнесется к делу. Степан Трофимович иногда говорил об искусстве, и весьма хорошо, но несколько отвлеченно. Вспоминал иногда о друзьях своей молодости – все о людях, оставивших след в истории нашего развития, – вспоминал с умилением и благоговением, но как будто с легкой завистью. Если становилось совсем скучно, то Лямшин, маленький айтишник, мастер игры на синтезаторе, садился играть, а в перерывах изображал звук дрона, взрыв, рождение ребенка с первым криком и прочее; только для этого его и приглашали. Если уж сильно выпивали – а это случалось, хотя и не часто, – то приходили в восторг, и даже раз хором, под аккомпанемент Лямшина, спели гимн Украины, только не знаю, хорошо ли вышло. День начала СВО мы встретили с энтузиазмом и задолго до этого начали поднимать тосты в ее честь. Это было еще давно, тогда еще не было ни Шатова, ни Виргинского, и Степан Трофимович еще жил в одной квартире с Варварой Петровной. Незадолго до этого знаменательного дня Степан Трофимович начал бормотать про себя известные, хотя и несколько странные стихи, должно быть, сочиненные каким-нибудь прежним либеральным блогером:

Идут добровольцы, несут автоматы,
Что-то страшное будет.

Кажется, что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна однажды подслушала и крикнула ему: «Глупости, глупости!» – и вышла в гнев. Липутин, случайно оказавшийся рядом, язвительно заметил Степану Трофимовичу:

– А жаль, если добровольцы и в самом деле доставят кое-какие неприятности тем, кто против.

И он провел указательным пальцем вокруг своей шеи.

– *Cher ami*, – благодушно заметил ему Степан Трофимович, – поверьте, что это (он повторил жест вокруг шеи) нисколько не принесет пользы ни тем, кто против, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем построить, несмотря на то, что наши головы больше всего и мешают нам понимать.

– *Cher ami*, – добродушно заметил Степан Трофимович, – поверьте, что эти радикальные меры (он повторил жест вокруг шеи) нисколько не помогут ни нашим бизнесменам, ни всем нам. Мы и без хаоса ничего не построим, хотя, признаюсь, наши собственные амбиции часто мешают нам видеть реальность.

Замечу, многие тогда верили, что в день объявления указа президента произойдет что-то из ряда вон выходящее, как предсказывал Липутин. И ведь это все так называемые эксперты по народу и государству! Кажется, и Степан Трофимович разделял эти настроения, до такой степени, что накануне важного дня стал проситься у Варвары Петровны в отпуск, куда-нибудь подальше; одним словом, занервничал. Но день прошел, прошло и еще немного времени, и высокомерная улыбка вернулась на лицо Степана Трофимовича. Он поделился с нами несколькими глубокими мыслями о русском характере в целом и о простом человеке в частности.

– Мы, как вечно спешащие, слишком поторопились с нашими простыми людьми, – заключил он. – Мы сделали их модными, и целые разделы литературы несколько лет подряд носились с ними, как с новым сокровищем. Мы возлагали лавровые венки на тех, кто в этом не нуждался. Российская глубинка за всю историю дала нам лишь анекдоты про алкашей. Замечательный поэт, не лишенный остроумия, увидев впервые на сцене великую балерину, воскликнул в восторге: "Не променяю балерину на простого человека!" Я готов пойти дальше: я всех этих простых людей отдам в обмен на одну балерину. Пора смотреть на вещи трезво и не смешивать наше родное, грубое с чем-то изысканным.

Липутин тут же согласился, но заметил, что покривить душой и похвалить простых людей тогда было необходимо для направления общественного мнения; что даже дамы из высшего общества плакали, читая посты про тяжелую жизнь, а некоторые из них даже из Дубая писали своим помощникам, чтобы отныне относились к рабочим как можно гуманнее.

Случилось, и как назло, сразу после слухов о диверсантах, что и в нашей области, всего в двадцати километрах от элитного поселка, произошло какое-то ЧП, так что по горячим следам отправили отряд Росгвардии. В этот раз Степан Трофимович так разволновался, что даже нас напугал. Он кричал в клубе, что силовиков нужно больше, чтобы вызвали подкрепление из соседнего района по Telegram; бегал к губернатору и уверял его, что он тут ни при чем; просил, чтобы его не впутали, по старой памяти, в это дело, и предлагал немедленно написать о его непричастности в Москву, кому следует. Хорошо, что все это быстро закончилось ничем; но я тогда удивился Степану Трофимовичу.

Примерно года через три после начала, как известно, заговорили о национальном самосознании и вдруг появилось «общественное мнение». Степан Трофимович только посмеивался.

– Друзья мои, – поучал он нас, – если наша национальная идентичность и вправду «пробудилась», как теперь кричат в телеграм-каналах, то она еще сидит за партой, в какой-нибудь частной школе, уткнувшись в учебник истории и зубрит заученные фразы. А строгий учитель ставит ее в угол за провинности. Я, конечно, за строгость, но скорее всего, ничего такого и не

произошло, и все идет своим чередом, то есть как Бог даст. По-моему, этого для России вполне достаточно. К тому же все эти разговоры о «русском мире» и национальной исключительности – это уже настолько старо, что просто смешно. Национальное самосознание, если хотите, всегда проявлялось у нас как очередная прихоть богатых бездельников, да и то, в основном, в Москве. Я, конечно, не про времена Киевской Руси говорю. И, в конце концов, все от безделья. У нас все от безделья, и хорошее, и плохое. Все от нашего барского, милого, образованного, капризного безделья! Я тридцать лет об этом толкую. Мы своим трудом жить не умеем. И что они теперь носятся с этим «пробудившимся» общественным мнением, – будто оно вдруг, ни с того ни с сего, свалилось с неба? Неужели не понимают, что для формирования мнения прежде всего нужен труд, собственный труд, собственная инициатива, собственный опыт! Даром ничего не дается. Будем трудиться – будет и свое мнение. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение за нас будут формировать те, кто вместо нас до сих пор работал, то есть все те же западные эксперты, все те же – наши вечные учителя. К тому же Россия – слишком великая загадка, чтобы нам одним ее разгадать, без помощи и без труда. Вот уже двадцать лет я бью в набат и призываю к труду! Я отдал жизнь этому призыву и, безумец, верил! Теперь уже не верю, но звоню и буду звонить до конца, до могилы; буду дергать веревку, пока не зазвонят по мне!

Увы, мы только кивали в ответ. Мы аплодировали нашему ментору, да еще как горячо! А что, господа, разве сейчас не слышится повсюду та же самая "милая", "умная", "либеральная" старая русская чушь?

В бога наш ментор верил. "Не понимаю, почему меня тут все выставляют безбожником? – говорил он иногда. – Я в бога верю, **mais distinguons**. Я верю, как в существо, осознающее себя лишь во мне. Не могу же я верить, как моя Настя (домработница) или как какой-нибудь барин, верующий "на всякий случай", – или как наш милый Шатов, – впрочем, нет, Шатов не в счет, Шатов верует как мобилизованный, как московский Z-патриот. Что же касается христианства, то, при всем моем искреннем к нему уважении, я – не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гете или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло женщину... Насчет же поклонений, постов и всего прочего, то не понимаю, кому какое до меня дело? Как бы ни старались тут наши стукачи, а иезуитом я быть не желаю. В сорок седьмом году Белинский, будучи за границей, послал Гоголю свое известное письмо и в нем горячо укорял того, что тот верует "в какого-то бога". **Entre nous soit dit**, ничего не могу вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь (тогдашний Гоголь!) прочел это выражение и... всё письмо! Но, откинув смешное, и так как я все-таки с сутью дела согласен, то скажу и укажу: вот были люди! Сумели же они любить свой народ, сумели же пострадать за него, сумели же пожертвовать для него всем и сумели же в то же время не сходиться с ним, когда надо, не потворствовать ему в известных понятиях. Не мог же в самом деле Белинский искать спасения в постном масле или в редьке с горохом!.."

Но тут вступался Шатов.

– Никогда эти ваши люди не любили народ, не страдали за него и ничем для него не жертвовали, как бы ни воображали это сами, себе в утешение! – угрюмо проворчал он, потупившись и нетерпеливо повернувшись на стуле.

– Это они-то не любили народ! – завопил Степан Трофимович. – О, как они любили Россию!

– Ни Россию, ни народ! – завопил и Шатов, сверкая глазами. – Нельзя любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили! Все они, и вы вместе с ними, просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно; уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский, точь-в-точь как Крылова Любопытный, не заметил слона в кунсткамере, а всё внимание свое устремил на французских социальных букашек; так и покончил на них. А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее был! Вы мало того что просмотрели народ, – вы с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под народом вы вооб-

ражали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков. И это голая правда! А у кого нет народа, у того нет и бога! Знайте наверняка, что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отцов, становятся или атеистами, или равнодушными. Верно говорю! Это факт, который оправдывается. Вот почему и вы все и мы все теперь – или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь, и ничего больше! И вы тоже, Степан Трофимович, я вас несколько не исключаю, даже на ваш счет и говорил, знайте это!

– Ни России, ни людей! – сорвался Шатов, глаза метали молнии. – Нельзя любить то, чего не знаешь, а вы все, либералы диванные, дальше своего Телеграма ничего не видите! Вы народ русский проглядели, как будто сквозь мутное стекло смотрели. Сидите в своих коворкингах, кофе пьете, а что на передовой делается – понятия не имеете! Вы народ презираете, потому что он не такой, как вам в ваших розовых мечтах рисуется. Вы хотите, чтобы все как в Европе было, а у нас – своя правда! А у кого нет народа, у того и правды нет! Знайте, кто от народа отрывается, тот и веру теряет, становится либо циником, либо равнодушным ко всему. Это факт! Вот почему мы все сейчас – либо циники, либо равнодушные потребители, и больше ничего! И вы тоже, Степан Трофимович, вас это тоже касается, не думайте, что я вас исключаю!

Обычно, выпалив такую тираду (а с ним это часто случалось), Шатов хватал свою кепку и рвался к двери, уверенный, что теперь все кончено, и он навсегда порвал отношения со Степаном Трофимовичем. Но тот всегда успевал его остановить.

– Может, помиримся, Шатов, после всех этих приятных слов? – говорил он миролюбиво, протягивая руку с кресла.

Неуклюжий, но застенчивый Шатов не любил нежностей. С виду грубый, а в душе, кажется, очень ранимый. Часто перегибал палку, но сам же от этого и страдал. Пробурчав что-то себе под нос в ответ на примирительные слова Степана Трофимовича и потоптавшись на месте, как медведь, он вдруг неожиданно ухмылялся, откладывая кепку и садился на прежний стул, упорно глядя в пол. Разумеется, приносили вино, и Степан Трофимович произносил какой-нибудь подходящий тост, например, в память о ком-нибудь из героев СВО.

У Варвары Петровны был еще один человек, к которому она испытывала не меньшую привязанность, чем к Степану Трофимовичу, – ее единственный сын, Николай Всеволодович Ставрогин. Именно для его воспитания и был приглашен Степан Трофимович. Мальчику тогда было около восьми лет, а его отец, легкомысленный генерал Ставрогин, уже жил отдельно от матери, так что ребенок рос исключительно под ее присмотром. Надо отдать должное Степану Трофимовичу, он умел располагать к себе воспитанника. Весь секрет заключался в том, что он и сам был как ребенок. Меня тогда еще не было, а он постоянно нуждался в настоящем друге. И он без колебаний сделал своим другом это маленькое существо, как только оно немного подросло. Как-то само собой получилось, что между ними не было ни малейшей дистанции. Он не раз будил своего десяти- или одиннадцатилетнего друга ночью, только чтобы излить ему в слезах свои обиженные чувства или открыть какой-нибудь семейный секрет, не замечая, что это совершенно недопустимо. Они бросались друг другу в объятия и плакали. Мальчик знал, что мать его очень любит, но сам вряд ли испытывал к ней сильные чувства. Она мало с ним разговаривала, редко в чем-то ограничивала, но его всегда болезненно ощущал на себе ее пристальный взгляд. Впрочем, во всем, что касалось обучения и нравственного развития, мать полностью доверяла Степану Трофимовичу. Тогда она еще безоговорочно в него верила. Надо полагать, педагог несколько расшатал нервы своему воспитаннику. Когда его, шестнадцатилетнего, повезли в лицей, он был болезненным и бледным, странно тихим и задумчивым. (Впоследствии он отличался необычайной физической силой.) Надо полагать, что друзья плакали, бросаясь ночью в объятия, не только из-за каких-то домашних мелочей. Степан Трофимович сумел затронуть в сердце своего друга самые глубокие струны и вызвать в нем первое, еще неопределенное ощущение той вечной, священной тоски, которую избранный душа,

однажды вкусив и познав, уже никогда не променяет на дешевое удовлетворение. (Есть и такие любители, которые этой тоской дорожат больше самого радикального удовлетворения, если бы оно даже было возможно.) Но в любом случае хорошо было, что птенца и наставника, хоть и поздно, но развели в разные стороны.

Первые два года после поступления в лицей молодой человек приезжал на каникулы. Во время поездки Варвары Петровны и Степана Трофимовича в Петербург он иногда присутствовал на литературных вечерах у матери, слушал и наблюдал. Говорил мало и по-прежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимовичу относился с прежним нежным вниманием, но уже как-то сдержаннее: о высоких материях и о воспоминаниях прошлого явно избегал с ним говорить. Окончив лицей, он, по желанию матери, поступил на военную службу и вскоре был зачислен в один из самых престижных гвардейских танковых полков. Показать матери в форме он не приехал и редко стал писать из Петербурга. Денег Варвара Петровна ему не жалела, несмотря на то, что после реформы доход с ее имений упал до того, что в первое время она и половины прежнего дохода не получала. У нее, впрочем, был накоплен долгой экономией некоторый, не совсем маленький капитал. Ее очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и подающему надежды. Он возобновил такие знакомства, о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием. Но очень скоро до Варвары Петровны начали доходить довольно странные слухи: молодой человек как-то безумно и вдруг загулял. Не то чтобы он играл или много пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о сбитых насмерть на блокпостах людях, о зверском поступке с одной волонтеркой, с которой он был в связи, а потом оскорбил ее публично в телеграм-канале. Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле. Прибавляли сверх того, что он какой-то задира, придирается и оскорбляет из удовольствия оскорбить. Варвара Петровна волновалась и тосковала. Степан Трофимович уверял ее, что это только первые, буйные порывы слишком богатой натуры, что море уляжется и что все это похоже на юность принца Гарри, кутившего с Фальстафом, Пойнсом и миссис Квикли, описанную у Шекспира. Варвара Петровна на этот раз не крикнула: «Ерунда, ерунда!», как повадилась в последнее время кричать на Степана Трофимовича, а, напротив, очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, сама скачала Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла бессмертную хронику. Но хроника ее не успокоила, да и сходства она не так много нашла. Она лихорадочно ждала ответов на несколько своих писем. Ответы не замедлили; вскоре было получено роковое известие, что принц Гарри почти одновременно участвовал в двух драках, кругом был виноват в обеих, одного из своих противников убил наповал, а другого покалечил, и вследствие этих деяний был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в рядовые, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков, да и то еще по особому снисхождению.

В первые два года после выпуска из лицея молодой человек приезжал домой на побывку. Во время визитов Варвары Петровны и Степана Трофимовича в Питер он иногда посещал литературные вечера у мамы, слушал и наблюдал. Говорил мало, оставался тихим и застенчивым. К Степану Трофимовичу относился с прежним вниманием, но сдержаннее: избегал говорить о высоких материях и прошлом. После окончания учебы, по настоянию матери, он пошел в армию и попал в один из престижных гвардейских танковых полков. В форме перед матерью не показался и стал редко писать из Питера. Варвара Петровна денег не жалела, хотя после реформы доходы с ее земель упали. Впрочем, у нее был накоплен капитал. Ее интересовали успехи сына в высшем обществе столицы. То, что не удалось ей, удалось молодому офицеру, богатому и перспективному. Он возобновил знакомства, о которых она и мечтать не могла, и везде был принят радушно.

Но вскоре до Варвары Петровны дошли странные слухи: молодой человек пустился во все тяжкие. Не то чтобы играл или пил, но говорили о какой-то дикой разнузданности, о гон-

ках на "Геликах" по встрече, о скандале с известной блогершей, с которой он встречался, а потом публично оскорбил. В этом деле было что-то откровенно мерзкое. Говорили, что он провокатор, цепляется и оскорбляет ради удовольствия. Варвара Петровна волновалась. Степан Трофимович уверял, что это юношеский максимализм, что все уляжется, как у принца Гарри, кутившего с друзьями. Варвара Петровна не крикнула: «Ерунда!», как часто делала в последнее время, а внимательно выслушала, попросила объяснить подробнее и даже зауглила историю принца Гарри. Но аналогии ее не успокоили. Она ждала ответов на письма. Вскоре пришло известие, что принц Гарри устроил две пьяные драки, был виноват в обеих, одного покалечил, другого отправил в реанимацию, и его отдали под суд. Дело кончилось разжалованием, лишением прав и отправкой служить в пехоту, и то по особому ходатайству.

В 2023 году он как-то отличился в зоне СВО; получил медаль "За Отвагу" и стал сержантом, а потом быстро получил офицерское звание. Все это время Варвара Петровна отправила в Москву сотни писем с просьбами. Она унилась в таком деле. После повышения молодой человек уволился, в Скворешники не приехал и матери перестал писать. Узнали, что он снова в Москве, но в прежнем обществе его не видели; он как будто спрятался. Выяснили, что он связался с маргиналами, с какими-то безработными айтишниками, отставными контрактниками, пьяницами, посещает их грязные квартиры, дни и ночи проводит в темных подворотнях, опустился и ему это нравится. Денег у матери не просил; у него была своя квартира, доставшаяся от деда, которую он сдавал. Наконец мать уговорила его приехать, и принц Гарри появился в нашем городе. Тогда я впервые его увидел.

В 2023-м ему удалось проявить себя в боях под Бахмутом; получил медаль и звание младшего сержанта, а там и до офицера дослужился быстро. Всё это время Варвара Петровна, наверное, сотню писем отправила в Москву, прошения, мольбы. Пришлось ей унижаться, чего обычно за ней не водилось. После повышения он вдруг уволился из армии, в родной поселок опять не вернулся, матери совсем перестал писать. Выяснили в итоге через знакомых, что он снова в Питере, но в прежних компаниях его больше не видели; как будто спрятался. Докопались до правды: живёт в какой-то странной тусовке, связался с отбросами общества, какими-то безработными, отставными военными, просящими милостыню у метро, пьяницами, ходит к ним в грязные квартиры, дни и ночи проводит в тёмных подворотнях и бог знает где, опустился, оброс, и, кажется, ему это нравится. Денег у матери не просит; у него своя квартира осталась – бывшая бабушкина, которую он сдаёт каким-то приезжим. В конце концов, мать уговорила его приехать, и принц Гарри появился в нашем городе. Тогда-то я его впервые и увидел, раньше не доводилось.

Очень красивый молодой человек, лет двадцати пяти, признаюсь, поразил меня. Я ожидал увидеть грязного бомжа, спившегося и воняющего перегаром. А передо мной стоял элегантный джентльмен, одетый с иголки, держался так, как только аристократ может, привыкший к изысканности. Не только я удивился: весь город был в шоке, ведь биография Ставрогина была известна всем, да ещё и с такими подробностями, что непонятно, откуда они взялись, и, что самое интересное, половина оказалась правдой. Все наши дамы потеряли голову от нового гостя. Разделились на два лагеря: одни обожали его, другие ненавидели до безумия; но равнодушных не было. Одних привлекала тайна, которая, возможно, скрывалась в его душе; другим нравилось, что он, возможно, убийца. Оказалось, что он ещё и неплохо образован; даже с кое-какими знаниями. Многого, конечно, не требовалось, чтобы нас удивить; но он мог рассуждать о важных вещах, и, что самое ценное, очень здраво. Странно, но все у нас чуть ли не с первого дня считали его очень рассудительным человеком. Он был немногословен, элегантен без вычурности, удивительно скромно и в то же время смел и уверен в себе, как никто другой. Наши местные мажоры смотрели на него с завистью и терялись на его фоне. Меня поразило его лицо: волосы черные как смоль, глаза светлые и спокойные, кожа нежная и белая, румянец яркий и чистый, зубы как жемчуг, губы коралловые – вроде бы красавец писанный, а в то же

время что-то отталкивающее в нём было. Говорили, что лицо его напоминает маску; впрочем, много чего говорили, в том числе и о его невероятной физической силе. Ростом он был почти высокий. Варвара Петровна смотрела на него с гордостью, но постоянно с тревогой. Он прожил у нас полгода – вяло, тихо, довольно угрюмо; появлялся в обществе и с безупречным вниманием соблюдал все наши провинциальные правила. С губернатором они были в родстве по отцу, и в его доме его принимали как близкого родственника. Но прошло несколько месяцев, и вдруг зверь показал свои когти.

Он был очень красив, этот молодой человек, лет двадцати пяти, и, признаюсь, меня поразило. Я ожидал увидеть какого-нибудь оборванца, пропахшего перегаром и упадком. А передо мной стоял элегантный мужчина, одетый с безупречным вкусом, державшийся с достоинством, присущим человеку, привыкшему к комфорту и хорошему обществу. И удивлен был не только я. Весь город шептался о биографии господина Ставрогина, причем с такими деталями, что диву даешься, откуда они могли взяться. И, что самое удивительное, половина из них оказывалась правдой. Наши дамы потеряли голову от нового гостя. Разделились на два лагеря: одни его обожали, другие ненавидели до глубины души, но равнодушных не было. Одних привлекала роковая тайна, которую он, возможно, скрывал в душе; другим нравилось, что о нем ходили слухи, будто он связан с криминалом. Оказалось, что он неплохо образован, даже обладает определенными знаниями. Конечно, чтобы удивить нас, многого не требовалось, но он мог поддержать разговор на актуальные темы и, что особенно ценно, проявлял здравый смысл. Странно, но почти все с первого дня считали его очень рассудительным человеком. Он был немногословен, элегантен без вычурности, удивительно скромн и в то же время уверен в себе, как никто другой в нашем городе. Местные мажоры смотрели на него с завистью и терялись на его фоне. Меня поразило его лицо: черные волосы, светлые, спокойные глаза, нежная кожа, яркий румянец, жемчужные зубы, коралловые губы – казалось бы, писанный красавец, но в то же время что-то в нем отталкивало. Говорили, что его лицо напоминает маску. Впрочем, много чего говорили, в том числе и о его недюжинной физической силе. Ростом он был почти высокий. Варвара Петровна смотрела на него с гордостью, но в ее взгляде читалась тревога. Он прожил у нас около полугода – вяло, тихо, довольно угрюмо. Появлялся в обществе и с неизменным вниманием соблюдал местный этикет. Губернатор приходился ему дальним родственником, и в его доме Ставрогин был принят как близкий. Но прошло несколько месяцев, и зверь показал свои когти.

Кстати, замечу в скобках, что наш милый, мягкий Иван Осипович, бывший губернатор, был немного похож на клушу, но из хорошей семьи и со связями – чем и объясняется то, что он просидел у нас столько лет, постоянно отмахиваясь от дел. По своему хлебосольству и гостеприимству ему бы следовало быть председателем дворянского собрания старого образца, а не губернатором в такое беспокойное время, как наше. В городе постоянно говорили, что губернией управляет не он, а Варвара Петровна. Конечно, это было сказано язвительно, но не соответствовало действительности. Да и сколько у нас было потрачено остроумия на этот счет. Напротив, Варвара Петровна в последние годы сознательно отошла от всяких властных амбиций, несмотря на всеобщее уважение, и добровольно ограничила себя строгими рамками. Вместо поездок в Москву и планов издавать журнал, она занялась хозяйством и за пару лет увеличила доходность своего поместья почти до прежнего уровня. Даже Степана Трофимовича отдалила от себя, позволив ему снимать квартиру в другом доме (о чем тот давно просил под разными предложениями). Постепенно Степан Трофимович стал называть ее "прозаической женщиной" или еще шутивее: "своим прозаическим другом". Разумеется, эти шутки он позволял себе только в чрезвычайно почтительной форме и долго выбирая подходящий момент.

К слову, наш бывший губернатор, Иван Осипович, человек добрейший и мягкий, был похож на... ну, скажем, на очень добрую бабушку. Зато с нужной фамилией и связями – вот и просидел столько лет, отмахиваясь от любых дел. По части хлебосольства и гостеприимства

ему бы в предводители дворянства, в старые времена, а не в губернаторы в такое беспокойное время. В городе шептались, что губернией управляет не он, а Варвара Петровна. Злые языки, конечно. На самом деле, Варвара Петровна в последние годы сознательно отошла от всяких высоких должностей, хотя ее все уважали. Она добровольно ограничила себя. Вместо поездок в Москву и планов издавать свой Telegram-канал, она занялась хозяйством и за пару лет подняла доходность своего агрохолдинга почти до прежнего уровня. Даже Степана Трофимовича отдалила, разрешив ему снять квартиру в соседнем ЖК (он давно об этом просил под разными предложениями). Постепенно Степан Трофимович стал называть ее "прозаичной женщиной" или, шутя, "своим прозаичным другом". Разумеется, шутил он только в очень уважительной форме и долго выбирал подходящий момент.

Мы, близкие, понимали – а Степан Трофимович чувствовал острее всех – что сын стал для нее новой надеждой, даже новой мечтой. Ее страсть к сыну началась, когда он стал успешен в московских кругах, и усилилась после известия о его... скажем так, о его проблемах с законом и службой по контракту. При этом она явно его боялась, словно рабыня. Боялась чего-то неопределенного, таинственного, чего и сама не могла бы объяснить. Она часто незаметно и пристально наблюдала за Николасом, что-то обдумывая и разгадывая... и вот – зверь вдруг показал когти.

П

П

Внезапно, словно бес попутал, наш князь выкинул пару совершенно невысказанных выходов, причем вся соль была в их абсурдности, в том, что они ни на что не походили, были какими-то дурацкими, мальчишескими и совершенно беспричинными. Один из уважаемых ветеранов нашего клуба, Павел Павлович Гаганов, пожилой и заслуженный человек, имел безобидную привычку к месту и не к месту повторять: "Нет уж, меня на мякине не проведешь!". Ну и ладно бы. Но однажды в клубе, когда он в очередной раз изрек этот афоризм в кругу собравшихся (и все люди уважаемые), Николай Всеволодович, стоявший в стороне и ни к кому не обращавшийся, вдруг подошел к Павлу Павловичу, неожиданно и крепко схватил его двумя пальцами за нос и поволок за собой по залу на пару шагов. Никакой злобы к Гаганову у него быть не могло. Можно было подумать, что это чистой воды школярство, разумеется, непростительное; и, однако же, потом рассказывали, что в момент "операции" он был почти задумчив, "словно в трансе"; но это уже потом вспомнили и сопоставили. В запале все сначала запомнили лишь момент, когда он уже явно все понимал и не только не смутился, но, напротив, злобно и весело улыбался, "без тени раскаяния". Поднялся страшный шум; его окружили. Николай Всеволодович оглядывался, с любопытством разглядывая возмущенные лица. Наконец, словно очнулся, – так, по крайней мере, передавали, – нахмурился, решительно подошел к оскорбленному Павлу Павловичу и скороговоркой, с явным раздражением, пробормотал:

– Вы, конечно, извините... Я, право, не знаю, что на меня нашло... глупость какая-то...

Небрежность извинения была равносильна новому оскорблению. Крик поднялся еще громче. Николай Всеволодович пожал плечами и вышел.

Все это было крайне глупо, не говоря уже о безобразии – безобразии нарочитом и умышленном, как показалось на первый взгляд, а значит, представлявшем собой преднамеренное, до крайней степени наглое оскорбление всему нашему обществу. Так это и было всеми воспринято. Начали с того, что немедленно и единогласно исключили господина Ставрогина из членов клуба; затем решили от лица всего клуба обратиться к главе администрации и просить его немедленно (не дожидаясь формального судебного разбирательства) обуздать вредного хулигана, столичного "отморозка", вверенной ему административной властью, и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от его вредных посягательств. С нескрываемой злобой добавляли при этом, что "может быть, и на господина Ставрогина найдется какой-нибудь закон". Именно эту фразу готовили для главы администрации, чтобы уколоть его за

Варвару Петровну. Смаковали с наслаждением. Главы администрации, как назло, тогда не оказалось в городе; он уехал неподалеку крестить ребенка у одной интересной молодой вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении; но знали, что он скоро вернется. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Павлу Павловичу целую овацию: обнимали и целовали его; весь город побывал у него с визитом. Даже планировали в его честь обед по подписке, но по его настоятельной просьбе от этой идеи отказались, – возможно, наконец осознав, что человека все-таки протащили за нос и что, стало быть, особо-то и праздновать нечего.

Вся эта история была до смешного нелепа, если не сказать – возмутительна. Возмутительна до такой степени, что казалась тщательно спланированной, с единственной целью – демонстративно плюнуть в лицо всему нашему обществу. Именно так это и было воспринято. Первым делом господина Ставрогина единогласно исключили из членов клуба. Затем решили обратиться от имени всех к главе администрации области с требованием немедленно (не дожидаясь формального судебного разбирательства) принять меры к столичному "беспредельщику", используя всю полноту власти, дабы оградить спокойствие нашего города от его выходок. С лицемерным возмущением добавляли, что "на господина Ставрогина, наверное, найдется какая-нибудь статья". Эту фразу специально готовили для главы, чтобы уколоть его за связь с Варварой Петровной. Смаковали детали с особым удовольствием. Главы, как назло, не оказалось в городе – уехал крестить ребенка у молодой вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении. Но все знали, что он скоро вернется. В ожидании же устроили Павлу Павловичу, как пострадавшей стороне, настоящую овацию: обнимали, жали руки, выражали сочувствие. Весь город перебивал у него с визитом. Даже собирались организовать в его честь торжественный ужин, но по его настоятельной просьбе от этой идеи отказались. Возможно, до всех наконец дошло, что его просто развели как лоха, и праздновать тут особо нечего.

И все же, как такое могло произойти? Как это вообще стало возможным? Самое поразительное, что никто в городе не списал этот дикий поступок на сумасшествие. Значит, от Николая Всеволодовича, человека умного, вполне ожидали подобного. Со своей стороны, я до сих пор не могу найти этому объяснение, несмотря на последовавшие вскоре события, которые, казалось бы, все объяснили и всех успокоили. Добавлю также, что четыре года спустя, на мой осторожный вопрос об этом инциденте в клубе, Николай Всеволодович ответил, нахмурившись: "Да, я тогда был не в форме". Но не будем забегать вперед.

Любопытна была и та волна всеобщей ненависти, с которой все набросились на "беспредельщика из столицы". Все непременно хотели видеть в его поступке наглый умысел и сознательное желание оскорбить общество. Человек действительно умудрился настроить против себя всех, хотя, казалось бы, чем? До этого случая он ни с кем не ссорился и никого не оскорблял, а вежлив был до приторности, как персонаж из глянцевого журнала, если бы тот вдруг заговорил. Думаю, его ненавидели за гордость. Даже наши дамы, которые сначала им восхищались, теперь кричали против него громче мужчин.

Мне было интересно наблюдать, как все вокруг вдруг ополчилось на этого "столичного выскочку". Все искали в его поступках злой умысел, желание оскорбить общество. Он, казалось, умудрился восстановить против себя всех, хотя, казалось бы, чем? До недавнего инцидента он ни с кем не ссорился, был сама вежливость, как будто сошел с глянцевой картинки. Думаю, его ненавидели за гордость. Даже женщины, которые сначала им восхищались, теперь кричали против него громче мужчин.

Варвара Петровна была потрясена. Позже она призналась Степану Трофимовичу, что предвидела все это, каждый день последние полгода, и именно "в таком роде" – удивительное признание от родной матери. "Началось!" – подумала она, содрогаясь. На следующее утро после рокового вечера в клубе она осторожно, но решительно, попыталась поговорить с сыном, хотя сама вся дрожала, бедная, несмотря на свою решимость. Она не спала всю ночь и даже рано утром ходила советоваться со Степаном Трофимовичем, где и расплакалась, чего с ней

никогда раньше при людях не случалось. Ей хотелось, чтобы Николай хоть что-нибудь ей сказал, хоть попытался объяснить свои действия. Николай, всегда такой вежливый и почтительный с матерью, некоторое время слушал ее нахмурившись, но очень серьезно; потом вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал ей руку и вышел. А в тот же день вечером, как назло, случился еще один скандал, хоть и менее значительный, но из-за всеобщего настроения еще больше усиливший городскую шумиху.

Как раз подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу сразу после разговора того с матерью и убедительно просил его почтить своим присутствием вечеринку в честь дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием наблюдала за таким низким кругом общения Николая Всеволодовича, но не смела ему ничего сказать. Он и без того завел знакомства в третьем эшелоне общества, даже еще ниже, – такая у него была склонность. У Липутина же дома он еще не был, хотя с ним самим и встречался. Он догадался, что Липутин зовет его сейчас из-за вчерашнего скандала в клубе и что он, как местный либерал, в восторге от этого скандала, искренне считает, что так и надо поступать с клубными боссами и что это очень хорошо. Николай Всеволодович рассмеялся и пообещал приехать.

Тут как раз подвернулся наш знакомый Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу сразу после его разговора с матерью и настойчиво пригласил его в тот же день на вечеринку по случаю дня рождения жены. Варвара Петровна уже давно с неудовольствием смотрела на круг общения сына, считая его слишком простым, но замечания делать не решалась. У него и без того появилось несколько знакомств в слоях общества попроще, даже совсем простых, – такая уж у него была склонность. У Липутина дома он до сих пор не был, хотя с ним самим встречался. Он догадался, что Липутин зовет его теперь из-за вчерашнего скандала в клубе и что он, как местный либерал, от этого скандала в восторге, искренне считает, что так и надо поступать с начальством и что это очень хорошо. Николай Всеволодович усмехнулся и пообещал приехать.

Гостей собралось много; народ был простой, но оживленный. Тщеславный и завистливый Липутин всего два раза в год устраивал такие вечеринки, но уж тогда не скупился. Самый почетный гость, Степан Трофимович, не смог приехать из-за болезни. Подавали чай, стояли обильные закуски и водка; играли в карты за тремя столами, а молодежь в ожидании ужина начала танцевать под фортепиано. Николай Всеволодович пригласил мадам Липутину – очень миловидную даму, ужасно его стеснявшуюся, – сделал с ней пару кругов, усадил рядом, разговаривал, рассмешил ее. Заметив, какая она хорошенькая, когда смеется, он вдруг, при всех гостях, обнял ее за талию и поцеловал в губы, раза три подряд, с удовольствием. Испуганная бедная женщина потеряла сознание. Николай Всеволодович взял куртку, подошел к ошеломленному среди всеобщего смятения супругу, выглядел смущенным и сам, и, быстро пробормотав ему: «Не сердитесь», вышел. Липутин побежал за ним в прихожую, лично подал ему куртку и с поклонами проводил с лестницы. Но на следующий день подоспело довольно забавное дополнение к этой, в сущности невинной, истории, – дополнение, принесшее с тех пор Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в свою пользу.

Около десяти утра в доме госпожи Ставрогиной появилась работница Липутина, Агафья, бойкая и румяная женщина лет тридцати, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая «увидеть их самих». У него сильно болела голова, но он вышел. Варваре Петровне удалось присутствовать при передаче поручения.

– Сергей Васильевич (то есть Липутин), – быстро затараторила Агафья, – первым делом велели вам очень кланяться и о здоровье спросить, как после вчерашнего спали и как сейчас себя чувствуете, после вчерашнего?

Николай Всеволодович усмехнулся.

– Кланяйся и благодари, да скажи ты своему барину от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе.

– А они против этого приказали вам ответить, – еще бойчее подхватила Агафья, – что они и без вас про то знают и вам того же желают.

– Вот! Да как он мог узнать про то, что я тебе скажу?

– Уж не знаю, каким образом узнали, а когда я вышла и уже почти весь переулок прошла, слышу, они меня догоняют без шапки: «Ты, говорят, Агафьюшка, если, вдруг, прикажут тебе: "Скажи, дескать, своему барину, что он умнее всех в городе", так ты им сразу на это не забудь: "Сами очень хорошо про то знаем и вам того же самого желаем..."»

III

III

Наконец, состоялся разговор с главой администрации. Добрейший Иван Осипович только что вернулся и успел выслушать гневную жалобу от представителей общественности. Разумеется, нужно было что-то предпринять, но он явно нервничал. Этот гостеприимный старик, казалось, побаивался своего молодого родственника. Он решил склонить его к извинениям перед общественностью и перед обиженным, в приемлемой форме, возможно, даже письменно. А затем мягко уговорить его уехать, например, в ознакомительную поездку в Италию или куда-нибудь за границу.

В кабинете, куда он пригласил Николая Всеволодовича (который раньше, как родственник, свободно разгуливал по всему дому), воспитанный Алеша Телятников, чиновник и доверенное лицо главы, в углу у стола вскрывал пакеты. А в соседней комнате, у окна, сидел приехавший погостить толстый и здоровый полковник, друг и бывший сослуживец Ивана Осиповича, и читал "Известия", делая вид, что не замечает происходящего в кабинете, даже сидел спиной.

Иван Осипович начал издали, почти шепотом, но запинаясь. Николай смотрел недружелюбно, совсем не по-родственному, был бледен, сидел, опустив голову, и слушал, сдвинув брови, словно преодолевая сильную боль.

– У вас доброе сердце, Николай, и благородное, – начал старик, – вы образованный человек, вращались в высших кругах, и здесь до сих пор вели себя образцово, чем успокоили сердце дорогой нам всем вашей матери... И вот теперь всё опять предстает в таком загадочном и опасном для всех виде! Говорю как друг вашего дома, как искренне любящий вас пожилой и родной вам человек, на которого нельзя обижаться... Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам, вне всяких принятых норм? Что могут означать такие выходки, словно в бреду?

Николай слушал с досадой и нетерпением. Вдруг в его взгляде промелькнуло что-то хитрое и насмешливое.

– Я, пожалуй, скажу вам, что побуждает, – угрюмо произнес он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алеша Телятников отошел еще на несколько шагов к окну, а полковник кашлянул за "Известиями". Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо; ему было крайне любопытно. И тут произошло нечто совершенно невообразимое, но в то же время в каком-то смысле понятное. Старик вдруг почувствовал, что Николай, вместо того чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг схватил зубами и довольно крепко стиснул верхнюю часть его уха. Он задрожал, и у него перехватило дыхание.

– Николай, что за шутки! – простонал он машинально, не своим голосом.

Алеша и полковник еще не успели ничего понять, да им и не было видно, и до конца казалось, что те шепчутся. Но отчаянное лицо старика их тревожило. Они смотрели друг на друга, выпучив глаза, не зная, броситься ли им на помощь, как было условлено, или еще подождать. Николай заметил это и, возможно, прижал ухо еще сильнее.

– Николай, Николай! – снова простонала жертва, – Ну... пошутил и хватит...

– Николай, Николай! – простонала жертва опять. – Ну... пошутил и хватит...

Еще секунда, и бедняга точно бы от страха помер, но мучитель сжалился и отпустил ухо. Все это длилось, наверное, целую минуту, и после такого у старика случился какой-то приступ. Но уже через полчаса Николая задержали и отвели на гауптвахту, в отдельную камеру, с часовым у двери. Решение было жесткое, но наш обычно мягкий начальник так разозлился, что решил взять ответственность на себя даже перед самой Варварой Петровной. К всеобщему изумлению, этой даме, которая в гневе примчалась к губернатору требовать объяснений, отказали в приеме прямо у крыльца. Она так и уехала, не выходя из машины, домой, не веря своим глазам.

И наконец-то все прояснилось! В два часа ночи арестованный, до этого удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг поднял шум, стал яростно колотить кулаками в дверь, с нечеловеческой силой вырвал железную решетку из окна, разбил стекло и изрезал себе руки. Когда дежурный офицер прибежал с командой и ключами и приказал открыть камеру, чтобы скрутить взбесившегося, оказалось, что у того сильнейший "белый горячка"; его тут же перевезли домой к матери. Все сразу стало понятно. Все три наших врача заключили, что больной уже дня три как мог быть в бреду, и хотя внешне казался в сознании и даже хитрым, но на самом деле уже не владел рассудком и волей. Это, впрочем, подтверждалось и фактами. Получалось, что Липутин раньше всех догадался. Иван Осипович, человек деликатный и чувствительный, очень смутился. Но любопытно, что и он, выходит, считал Николая Всеволодовича способным на любой безумный поступок в здравом уме. В клубе тоже пристыдились и недоумевали, как это они все слона-то и не заметили, упустили единственное возможное объяснение всем странностям. Конечно, нашлись и скептики, но их быстро заставили замолчать.

Николай пролежал больше двух месяцев. Из Москвы вызвали известного врача на консилиум; весь город навещал Варвару Петровну. Она простила. Когда к весне Николай совсем поправился и без возражений согласился с предложением матери съездить в Италию, она же уговорила его сделать прощальные визиты и, где надо, извиниться. Николай согласился охотно. В клубе знали, что у него состоялся деликатнейший разговор с Павлом Павловичем Гагановым у того дома, которым тот остался доволен. Ездя по визитам, Николай был очень серьезен и даже мрачен. Все принимали его с участием, но почему-то смущались и радовались его отъезду в Италию. Иван Осипович даже прослезился, но так и не решился обнять его даже при прощании. Честно говоря, некоторые так и остались уверены, что негодяй просто насмеялся над всеми, а болезнь – это так, для отвода глаз. Заехал он и к Липутину.

– Скажите, – спросил он его, – как вы могли заранее угадать, что я скажу о вашем уме, и снабдить Агафью ответом?

– А вот так, – засмеялся Липутин, – я ведь и вас считаю умным человеком, поэтому и мог заранее предугадать ваш ответ.

– Все равно удивительное совпадение. Но позвольте: вы, значит, считали меня умным человеком, когда присылали Агафью, а не сумасшедшим?

— Забавно всё-таки вышло. Послушайте, а когда Агафью прислали, вы меня за идиота не держали? Считали, что я соображаю?

— Да за умнейшего и рассудительнейшего! Просто сделал вид, будто поверил в вашу... неадекватность. Вы же сразу всё поняли и через Агафью мне патент на остроумие выслали.

— Ну, тут вы слегка преувеличиваете. Я тогда и правда... не совсем здоров был, — пробормотал Николай Всеволодович, нахмурившись. — Стоп! Вы что, серьёзно думаете, что я в здравом уме на людей бросаюсь? С какой стати?

Липутин съёжился и ничего не ответил. Николаю, кажется, побледнел, хотя, может, Липутину просто показалось.

— В любом случае, у вас интересные мысли, — продолжал Николай. — А про Агафью я, конечно, понял, что вы её меня отчитывать прислали.

— Не на дуэль же вас вызывать?

— Ах да, точно! Я слышал, вы дуэли не жалуете...

— Что с французского-то переводить! — снова съёжился Липутин.

— За народность радуете?

Липутин ещё больше жался.

— Ба! Что я вижу! — воскликнул Николай, заметив на столе книгу Консидерана. — Да вы, случаем, не фурьерист? Вот это да! Опять перевод с французского? — засмеялся он, постукивая пальцами по книге.

— Нет, это не с французского! — почти злобно подскочил Липутин. — Это с всемирно-человеческого языка! С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии! А не с одного французского!

— Да нет такого языка! — продолжал смеяться Николай.

Иногда даже мелочь поражает воображение надолго. О Ставрогине ещё много предстоит сказать, но сейчас, ради курьёза, отмечу: из всех впечатлений, полученных им в нашем городе, ярче всего запомнилась невзрачная фигура провинциального чиновника, ревнивца и домашнего тирана, скряги и ростовщика, запирающего объедки и огарки на ключ, и в то же время фанатичного сектанта, мечтающего о какой-то будущей «социальной гармонии», упивающегося по ночам фантастическими картинами фаланстеров, в скорое воплощение которых в России и в нашей области он верил как в собственное существование. И это при том, что сам он скопил себе домик, женился во второй раз и взял за женой деньги, и, возможно, на сто километров вокруг не было ни одного человека, похожего на будущего члена «всемирно-общечеловеческой социальной республики и гармонии».

"Как такие люди получаются?" — недоумевал Николай, вспоминая неожиданного фурьериста.

IV

Более трех лет наш князь путешествовал, и в городе его почти забыли. Мы знали от Степана Трофимовича, что он объездил всю Европу, побывал в Египте и даже в Иерусалиме; потом примкнул к какой-то научной экспедиции в Исландию и действительно там побывал. Говорили, что одну зиму он слушал лекции в немецком университете. Матери он писал редко — раз в полгода, а то и реже. Но Варвара Петровна не сердилась и не обижалась. Раз установившиеся отношения с сыном она приняла покорно, но, конечно, каждый день все эти три года беспокоилась, тосковала и мечтала о своем Николае непрерывно. Ни мечтаниями, ни жалобами своими она ни с кем не делилась. Даже от Степана Трофимовича, казалось, несколько отдалилась. Она строила какие-то планы про себя и, кажется, стала еще скупее, чем прежде, и еще больше сердилась из-за карточных проигрышей Степана Трофимовича.

Наконец, в апреле этого года Варвара Петровна получила сообщение из Парижа от Прасковьи Ивановны Дроздовой, подруги детства. В сообщении Прасковьи Ивановна, с которой Варвара Петровна не виделась и не переписывалась лет восемь, сообщала, что Николай Всеволодович близко сошелся с их семьей, подружился с Лизой (ее единственной дочерью) и собирается сопровождать их летом в Швейцарию, в Верне-Монтрё. И это несмотря на то, что в семье графа К... (весьма влиятельного в Петербурге человека, сейчас находящегося в Париже) его приняли как родного сына, он там почти живет. Сообщение было кратким и ясно показывало свою цель, хотя никаких выводов, кроме вышеупомянутых фактов, не содержало. Варвара Петровна долго не раздумывала, быстро приняла решение, собралась, взяла с собой свою воспитанницу Дашу (сестру Шатова) и в середине апреля уехала в Париж, а затем в Швейцарию. Вернулась она в июле одна, оставив Дашу у Дроздовых. Сами же Дроздовы, по привезенным ею новостям, обещали приехать к нам в конце августа.

Дроздовы тоже были помещиками нашей губернии, но служба генерала Ивана Ивановича (бывшего приятеля Варвары Петровны и сослуживца ее мужа) постоянно мешала им когда-либо посетить их великолепное поместье. После смерти генерала в прошлом году, безутешная

Прасковья Ивановна отправилась с дочерью за границу, в том числе и для лечения виноградом, которое она планировала пройти в Верне-Монтрё во второй половине лета. По возвращении домой она намеревалась поселиться в нашей губернии навсегда. В городе у нее был большой дом, много лет стоявший пустым, с заколоченными окнами. Люди были богатые. Прасковья Ивановна, в первом браке Тушина, как и ее подруга по пансиону Варвара Петровна, была дочерью откупщика прошлых лет и тоже вышла замуж с большим приданым. Отставной штаб-ротмистр Тушин и сам был человеком состоятельным и с некоторыми способностями. Умирая, он завещал своей семилетней и единственной дочери Лизе хороший капитал. Теперь, когда Елизавете Николаевне было около двадцати двух лет, за ней можно было смело считать до двухсот тысяч рублей только ее собственных денег, не говоря уже о состоянии, которое должно было ей достаться со временем после матери, не имевшей детей во втором браке. Варвара Петровна, казалось, была очень довольна своей поездкой. По ее мнению, она успешно договорилась с Прасковьей Ивановной, и сразу по приезде сообщила все Степану Трофимовичу, даже была с ним весьма откровенна, что давно с ней не случалось.

— Ура! — воскликнул Степан Трофимович и щелкнул пальцами.

— Ура! — воскликнул Степан Трофимович и щелкнул пальцами.

Он был в полном восторге, тем более что все время разлуки с подругой провел в унынии. Уезжая, она даже толком не попрощалась и ничего не сообщила о своих планах «этой бабе», опасаясь, наверное, что он проболтается. Она злилась на него тогда из-за крупного проигрыша в карты, который внезапно вскрылся. Но еще в Европе почувствовала, что брошенного друга надо по возвращении вознаградить, тем более что давно уже была с ним строга. Быстрая и таинственная разлука поразила робкое сердце Степана Трофимовича, и, как назло, разом навалились другие проблемы. Его мучило одно давнее денежное обязательство, которое без помощи Варвары Петровны никак не могло быть погашено. Кроме того, весной закончилось губернаторство их доброго, мягкого Ивана Осиповича; его сменили, и даже с неприятностями. Затем, в отсутствие Варвары Петровны, прибыл новый начальник, Андрей Антонович фон Лембке; вместе с тем началось изменение в отношении почти всего местного общества к Варваре Петровне, а значит, и к Степану Трофимовичу. Он успел собрать несколько неприятных наблюдений и очень оробел без Варвары Петровны. Он подозревал, что о нем уже донесли новому губернатору как о человеке неблагонадежном. Он узнал, что некоторые дамы намеревались прекратить визиты к Варваре Петровне. О будущей губернаторше (которую ждали к осени) говорили, что она хотя и гордячка, но зато настоящая аристократка, а не «какая-нибудь наша Варвара Петровна». Всем было известно, что новая губернаторша и Варвара Петровна встречались когда-то и расстались враждебно, так что одно упоминание о госпоже фон Лембке производит на Варвару Петровну болезненное впечатление. Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительное равнодушие, с которым она выслушала о мнениях местных дам и о волнении общества, воскресили упавший дух Степана Трофимовича и мигом развеселили его. С радостно-угодливым юмором он стал расписывать ей прибытие нового губернатора.

— Вам, *excellente amie*, — говорил он, кокетничая и растягивая слова, — без сомнения, известно, что такое русский чиновник, говоря вообще, и что такое русский чиновник внове, то есть новоиспеченный, новоназначенный... *Ces interminables mots russes!*.. Но вряд ли вы могли узнать, что такое административный восторг и что это за штука?

— Административный восторг? Не знаю, что это.

— Административный восторг? Не понимаю, о чём вы.

— Ну, знаете, как у нас бывает... Поставь какого-нибудь мелкого клерка билеты на автобус продавать, и он тут же возомнит себя вершителем судеб. Будет смотреть на тебя свысока, будто одолжение делает. "Покажу-ка я тебе свою власть!" И это у них доходит до настоящего административного экстаза... Вот, читал недавно, как один пограничник в аэропорту, ну просто выгнал семью с детьми из зоны досмотра перед самым вылетом. Сказал, что "нечего тут

шастать, когда положено". Довёл мать до истерики... Вот это и есть административный восторг, et il a montré son pouvoir...

— Пожалуйста, покороче, Степан Трофимович.

— Господин Крутов теперь по области ездит. Этот Андрей Петрович, хоть и русский, и православный, и даже, ладно, уступлю, видный мужчина, лет сорока...

— С чего вы взяли, что видный? У него взгляд как у барана.

— Ну, дамы так говорят...

— Давайте к делу, Степан Трофимович, прошу вас! Кстати, вы давно красные галстуки носите?

— Это я... только сегодня...

— А зарядку делаете? Ходите каждый день свои шесть километров, как врач прописал?

— Не... не всегда.

— Я так и знала! Ещё в Европе чувствовала! – раздражённо воскликнула она. – Теперь будете не шесть, а десять километров ходить! Вы ужасно сдали, ужасно, уж-жасно! Не просто постарели, а обрюзгли... Я просто поразилась, когда вас увидела, несмотря на ваш красный галстук... quelle idée rouge! Продолжайте про Крутова, если есть что сказать, и закончите когда-нибудь, я устала.

— В общем, я хотел сказать, что это один из тех начальников, которые до сорока лет сидят тихо, а потом вдруг вылезают в люди благодаря удачной женитьбе или ещё какому-нибудь хитрому ходу... Он теперь уехал... То есть, я хочу сказать, что ему тут же настучали, будто я молодёжь развращаю и рассадник областного нигилизма... Он тут же начал наводить справки.

— Неужели?

— Я даже меры принял. Когда про вас "до-ло-жи-ли", что вы "областью рулите", vous savez, он позволил себе сказать, что "такого больше не будет".

— Так и сказал?

— Что "такого больше не будет", и avec cette morgue... Супругу, Юлию Михайловну, мы увидим здесь в конце августа, прямо из Москвы.

— Из-за границы. Мы там встречались.

— Vraiment?

— В Европе. Она родственница генерала Дроздова.

— Родственница? Какое совпадение! Говорят, амбициозна и... с большими связями?

— Родня, говорите? Какое совпадение! Говорят, у нее амбиции и... связи, будто бы, серьезные?

— Да ерунда эти связи! До сорока пяти лет одна куковала, без гроша в кармане, а тут выскочила за своего фон Лембке, и теперь, конечно, только и думает, как его в люди вывести. Оба те еще комбинаторы.

— И, говорят, она его старше года на два?

— На все пять! Мать ее в Москве мне пороги обивала; на вечеринки ко мне, еще при Всеволоде Николаевиче, напрашивалась, как будто одолжение делала. А эта, бывало, всю ночь в углу просидит, никто не танцует, с этой своей брошкой дурацкой на лбу, так что я уже под утро, из жалости, ей хоть какого-нибудь кавалера подсылала. Ей тогда уже двадцать пять было, а ее все как девочку в коротеньком платьице выставляли. Неловко их было приглашать.

— Эту брошку я прямо вижу.

— Я вам говорю, приехала и сразу в интригу вляпалась! Вы же читали переписку Дроздовой, куда уж яснее? И что я вижу? Эта дура Дроздова – она всегда душой была – вдруг смотрит на меня с недоумением: мол, зачем я приехала? Представляете мое удивление? Смотрю, а тут эта Лембке крутит-вертит, и с ней этот кузен, племянник старика Дроздова, – сразу все понятно! Разумеется, я мигом все переиграла, и Прасковья снова на моей стороне, но интрига, интрига!

— Которую вы, однако, победили. О, вы просто стратег!

— Не будучи стратегом, я, тем не менее, способна распознать фальшь и глупость, где бы их ни встретила. Лембке – это фальшь, а Прасковья – глупость. Редко встречала такую размазню, да еще и ноги отекли, и к тому же добрая. Что может быть глупее доброго дурака?

— Злой дурак, моя дорогая, еще глупее, – благородно возразил Степан Трофимович.

— Возможно, вы и правы. Вы же Лизу помните?

— Очаровательное дитя!

— Но теперь уже не дитя, а женщина, и женщина с характером. Благородная и горячая, и мне нравится, что она матери спуску не дает, этой доверчивой дуре. Из-за этого кузена чуть скандал не вышел.

— Да ведь он и правда Лизавете Николаевне не родня... Виды, что ли, на нее имеет?

— Видите ли, это молодой офицер, очень немногословный, даже скромный. Я всегда стараюсь быть справедливой. Мне кажется, он сам против всей этой заварухи и ничего не хочет, а мутит воду только Лембке. Очень уважал Николая. Понимаете, все зависит от Лизы, но я оставила ее в прекрасных отношениях с Николаем, и он сам обещал мне обязательно приехать к нам в ноябре. Значит, интригует тут одна Лембке, а Прасковья просто слепая женщина. Вдруг говорит мне, что все мои подозрения – фантазия; я ей прямо в глаза отвечаю, что она дура. Готова это на суде подтвердить. И если бы не просьбы Николая, чтобы я пока не вмешивалась, я бы не уехала оттуда, не разоблачив эту лицемерку. Она через Николая к графу К. подлизывалась, хотела сына с матерью поссорить. Но Лиза на нашей стороне, а с Прасковьей я договорилась. Вы знаете, ей Кармазинов родственник?

— Как? Родственник мадам фон Лембке?

— Ну да, ей. Дальний.

— Кармазинов, этот писатель?

— Кармазинов, этот писатель?

— Ну да, автор, чего удивляться? Конечно, сам себя гением считает. Напыщенный индюк! Эта девица с ним приехала, сейчас увивается вокруг него. Она хочет тут что-то организовать, литературные вечера какие-то. Он на месяц приехал, последнее, что осталось, продать хочет. Я чуть с ним в Швейцарии не столкнулась, и очень этого не хотела. Хотя, надеюсь, меня-то он узнает. Раньше письма писал, у нас бывал. Я бы хотела, чтобы ты прилично выглядел, Степан Трофимович; ты совсем перестал следить за собой... Ох, как ты меня расстраиваешь! Что ты сейчас читаешь?

— Я... я...

— Понятно. Все те же друзья, все те же пьянки, клуб, карты и репутация атеиста. Мне эта репутация не нравится, Степан Трофимович. Я не хочу, чтобы тебя называли атеистом, особенно сейчас. Да и раньше не хотела, потому что это все пустая болтовня. Надо же когда-нибудь это сказать.

— Mais, ma chérie...

— Послушай, Степан Трофимович, я, конечно, не такая ученая, как ты, но я ехала сюда и много о тебе думала. И пришла к одному выводу.

— К какому же?

— К тому, что не только мы с тобой самые умные на свете, а есть люди и поумнее нас.

— И остроумно, и точно. Есть умнее, значит, есть и правее нас, значит, и мы можем ошибаться, так? Mais, ma bonne amie, допустим, я ошибаюсь, но у меня же есть мое всечеловеческое, вечное, высшее право на свободу совести? Я же имею право не быть ханжой и фанатиком, если не хочу, и за это, естественно, буду ненавидим разными господами до конца дней. Et puis, comme on trouve toujours plus de moines que de raison, и я с этим совершенно согласен...

— Что, что ты сказал?

— Я сказал: on trouve toujours plus de moines que de raison, и я с этим...

— Это, наверное, не твое; ты где-то это услышал?

— Это Паскаль сказал.

— Так я и знала... что не ты! Почему ты сам никогда так не скажешь, так коротко и точно, а всегда так длинно рассуждаешь? Это гораздо лучше, чем про административный восторг...

— *Ma foi, chérie...* почему? Во-первых, потому, что я все-таки не Паскаль, *et puis...* во-вторых, мы, русские, ничего не умеем сказать на своем языке... По крайней мере, до сих пор ничего толком не сказали...

— Гм! Это, может, и неправда. Но ты бы записывал и запоминал такие фразы, знаешь, на случай разговора... Ах, Степан Трофимович, я серьезно, очень серьезно ехала с тобой поговорить!

— *Chérie, chérie amie!*

— Теперь, когда все эти Лембки, все эти Кармазиновы... Боже, как ты опустился! Ох, как ты меня мучаешь!.. Я хочу, чтобы эти люди тебя уважали, потому что они твоего мизинца не стоят, а ты как себя ведешь? Что они увидят? Что я им покажу? Вместо того чтобы быть примером благородства, ты окружил себя какой-то швалью, у тебя какие-то ужасные привычки, ты одряхлел, ты не можешь без вина и без карт, ты читаешь только бульварное чтиво и ничего не пишешь, а они все там пишут; все твое время уходит на болтовню. Разве можно дружить с такой сволочью, как твой неразлучный Липутин?

— Почему же он мой и неразлучный? — робко возразил Степан Трофимович.

— Где он сейчас? — строго и резко спросила Варвара Петровна.

— Где он сейчас? — Варвара Петровна продолжала допрос, голос сухой и требовательный.

— Он... он вас безмерно уважает и уехал в Питер, после смерти матери оформляет наследство.

— Вечно он только и делает, что деньги получает. А Шатов? Все такой же?

— *Irascible, mais bon.* Вспыльчивый, но добрый.

— Терпеть не могу этого вашего Шатова; злой и о себе слишком много возомнил!

— Как здоровье Дарьи Павловны?

— Это ты про Дашу? С чего вдруг такой интерес? — Варвара Петровна взглянула на него с подозрением. — Здорова, у Дроздовых оставила... Я слышала что-то про твоего сына в Европе, нехорошее.

— *Oh, c'est une histoire bien bête!* *Je vous attendais, ma bonne amie, pour vous raconter...* О, это глупая история! Я ждал вас, моя дорогая, чтобы рассказать...

— Хватит, Степан Трофимович, дай отдохнуть; я устала. Еще успеем наговориться, особенно о плохом. Ты начинаешь брызгать слюной, когда смеешься, это уже старческое! И как странно ты теперь смеешься... Боже, сколько у тебя дурных привычек! Кармазинов к тебе не приедет! А тут и без того все рады... Ты всего себя выставил напоказ. Ну, довольно, довольно, я устала! Можно же хоть немного пожалеть человека!

Степан Трофимович «пожалел человека», но удалился в замешательстве.

У

Дурных привычек у нашего друга действительно накопилось немало, особенно в последнее время. Он заметно и быстро опустился, и это правда, что он стал неряшлив. Пил больше, стал сентиментальнее и нервнее; стал слишком чувствителен к прекрасному. Лицо его приобрело странную способность меняться необыкновенно быстро, от самого торжественного выражения до самого смешного и даже глупого. Не выносил одиночества и постоянно требовал, чтобы его развлекали. Ему нужно было обязательно рассказать какую-нибудь сплетню, городской анекдот, и притом каждый день что-то новое. Если же никто долго не приходил, он тоскливо бродил по комнатам, подходил к окну, задумчиво жевал губами, глубоко вздыхал, а под

конец чуть не плакал. Он все чего-то ждал, боялся чего-то, неожиданного, неминуемого; стал пуглив; стал обращать большое внимание на сны.

Весь этот день и вечер он провел в мрачном настроении, послал за мной, очень волновался, долго говорил, долго рассказывал, но все довольно бессвязно. Варвара Петровна давно знала, что он от меня ничего не скрывает. Мне показалось, наконец, что его беспокоит что-то особенное, что он и сам не может толком объяснить. Обычно, когда мы оставались наедине и он начинал жаловаться, то почти всегда, спустя некоторое время, приносили бутылку, и становилось гораздо легче. В этот раз вина не было, и он явно подавлял в себе желание послать за ним.

— И чего она все сердится! — жаловался он поминутно, как ребенок. — *Tous les hommes de génie et de progrès en Russie étaient, sont et seront toujours des картежники et des пьяницы, qui boivent en запой...* Все талантливые и прогрессивные люди в России были, есть и будут всегда картежники и пьяницы, уходящие в запой... а я еще вовсе не такой картежник и не такой пьяница... Упрекает, зачем я ничего не пишу? Странная мысль!.. Зачем я лежу? Вы, говорит, должны стоять «примером и укоризной». *Mais, entre nous soit dit*, Но, между нами говоря, что же делать человеку, которому предназначено стоять «укоризной», как не лежать, — понимает ли она это?

— Ну, чего она вечно ворчит! — ныл он, как ребенок. — *Tous les hommes de génie et de progrès en Russie étaient, sont et seront toujours des картежники et des пьяницы...* А я еще вовсе не такой картежник и не такой пьяница... Пишет, что я ничего не делаю. Странно!.. Зачем я лежу? Говорит, я должен быть "примером и укором". *Mais, entre nous soit dit*, что же делать человеку, которому суждено быть "укором", кроме как лежать? Она это понимает?

И тут я понял главную причину его тоски. Он часто подходил к зеркалу и долго смотрел на себя. Наконец, отвернувшись и с отчаянием сказал:

— *Mon cher, je suis un опустившийся человек!*

Да, до этого дня он был уверен, несмотря на все "новые взгляды" Варвары Петровны, что он по-прежнему привлекателен для ее женского сердца, не только как изгнанник или ученый, но и как мужчина. Двадцать лет он верил в это, и, возможно, это было самое дорогое его убеждение. Знал ли он тогда, какое испытание его ждет?

VI

Теперь расскажу о забавном случае, с которого и начинается моя хроника.

В конце августа вернулись Дроздовы. Их приезд совпал с приездом родственницы, новой начальницы гуманитарного штаба, которую ждали в городе, и произвел впечатление. Но об этом позже. Прасковья Ивановна привезла Варваре Петровне загадку: Николас уехал еще в июле и, встретив на границе графа К., отправился с ним и его семьей в Москву. (NB. У графа три дочери на выданье.)

— От Лизаветы я ничего не добила, — сказала Прасковья Ивановна, — но видела, что у нее с Николаем Всеволодовичем что-то произошло. Не знаю причин, но, кажется, тебе, Варвара Петровна, придется спросить у твоей Дарьи Павловны. Мне кажется, Лиза была обижена. Рада, что привезла тебе твою фаворитку.

Она сказала это с раздражением. Было видно, что она готовилась к этому разговору. Но Варвару Петровну не так просто смутить. Она потребовала объяснений. Прасковья Ивановна сразу сменила тон и даже расплакалась. Эта раздражительная, но сентиментальная дама, как и Степан Трофимович, нуждалась в дружбе, и жаловалась, что дочь ей "не друг".

Эти ядовитые слова были произнесены с заметным раздражением. Видно было, что "раскисшая женщина" заранее их подготовила и предвкушала эффект. Но Варвару Петровну сентиментальными эффектами и загадками не проймешь. Она потребовала точных и исчерпывающих объяснений. Прасковья Ивановна тут же сменила тон и даже расплакалась, перейдя к дружеским излияниям. Эта раздражительная, но сентиментальная дама, как и Степан Тро-

фимович, постоянно нуждалась в настоящей дружбе, и главная ее жалоба на дочь, Лизавету Николаевну, была в том, что "дочь ей не подруга".

Из всех ее объяснений выяснилось лишь, что между Лизой и Николаем действительно произошла какая-то ссора, но какого рода – Прасковья Ивановна, очевидно, не понимала. От обвинений в адрес Дарьи Павловны она отказалась и просила не придавать значения ее прежним словам, сказанным "в раздражении". В общем, все было очень неясно, даже подозрительно. По ее словам, ссора началась из-за "строптивного и насмешливого" характера Лизы; "а гордый Николай Всеволодович, хоть и был влюблен, не мог выносить насмешек и сам стал насмешлив".

– Вскоре мы познакомимся с одним молодым человеком, кажется, племянник вашего "профессора", да и фамилия та же...

– Сын, а не племянник, – поправила Варвара Петровна. Прасковья Ивановна никогда не могла запомнить фамилию Степана Трофимовича и всегда называла его "профессором".

– Ну, сын так сын, мне все равно. Обычный молодой человек, живой и общительный, но ничего особенного. Тут уж сама Лиза поступила нехорошо: приблизила молодого человека, чтобы вызвать ревность у Николая Всеволодовича. Не осуждаю ее: девичьи дела, обычное дело, даже мило. Только Николай Всеволодович, вместо того чтобы ревновать, подружился с молодым человеком, будто ничего не видит или ему все равно. Лизу это взбесило. Молодой человек вскоре уехал (куда-то спешил), а Лиза стала придираться к Николаю Всеволодовичу. Заметила, что он иногда говорит с Дашей, и начала беситься, мне житья не стало. Врачи запретили мне нервничать, и это ваше хваленое озеро мне надоело, только зубы от него заболели, такой ревматизм. В Telegram даже пишут, что от Женевского озера зубы болят: такое свойство. А тут Николай Всеволодович получил письмо от какой-то графини и сразу уехал, в один день собрался. Простились по-дружески, и Лиза, провожая его, была весела и легкомысленна, много смеялась. Но это все напускное. После его отъезда она стала задумчивой и перестала о нем говорить. И вам советую, Варвара Петровна, ничего сейчас с Лизой об этом не начинать, только навредите. А будете молчать, она сама заговорит, тогда больше узнаете. По-моему, они снова сойдутся, если Николай Всеволодович скоро вернется, как обещал.

– Сейчас же ему напишу. Если всё так и было, то это просто глупая ссора, ерунда! Да и Дашу я слишком хорошо знаю, тоже ерунда.

– Насчет Дашеньки, каюсь, погорячилась. Просто обычные разговоры были, да и то при всех. Но меня тогда всё это так выбило из колеи, мама. Да и Лиза, я видела, сама же с ней опять сблизилась, как и раньше...

Варвара Петровна в тот же день написала Николаю и умоляла его приехать хотя бы на месяц раньше, чем он планировал. Но всё равно оставалось для неё что-то неясное и непонятное. Она продумала весь вечер и всю ночь. Мнение Прасковьи казалось ей слишком наивным и сентиментальным. "Прасковья всю жизнь была слишком чувствительной, ещё с пансиона, – думала она. – Не такой Николай, чтобы сбежать из-за насмешек девчонки. Тут другая причина, если точно была ссора. Этот офицер, однако, здесь, они его с собой привезли, и он у них в доме как родной поселился. Да и насчет Дарьи Прасковья слишком уж быстро повинилась: наверняка что-то про себя оставила, чего не хотела говорить..."

К утру у Варвары Петровны созрел план, как разом покончить хотя бы с одним недоумением – план, поразительный своей неожиданностью. Что было у неё на душе, когда она его придумала? Трудно сказать, да и не стану я заранее объяснять все противоречия, из которых он состоял. Как летописец, я лишь представляю события в точности, как они произошли, и не виноват, если они покажутся невероятными. Но, однако, должен ещё раз подтвердить, что подозрений насчет Даши у неё к утру никаких не осталось, да и, по правде говоря, никогда и не было; слишком она была в ней уверена. Да и мысли она не могла допустить, чтобы её Николай мог увлечься её... "Дарьей". Утром, когда Дарья Павловна за чайным столом разливала чай,

Варвара Петровна долго и пристально на неё смотрела и, может быть, в двадцатый раз со вчерашнего дня, с уверенностью произнесла про себя:

– Всё ерунда!

Заметила только, что у Даши какой-то усталый вид и что она ещё тише прежнего, ещё апатичнее. После чая, по заведённому раз и навсегда обычаю, обе сели за рукоделие. Варвара Петровна велела ей подробно рассказать о её впечатлениях за границей, особенно о природе, жителях, городах, обычаях, их искусстве, промышленности – обо всём, что она успела заметить. Ни одного вопроса о Дроздовых и о жизни с Дроздовыми. Даша, сидевшая рядом с ней за рабочим столиком и помогавшая ей вышивать, рассказывала уже с полчаса своим ровным, однообразным, но немного слабым голосом.

– Дарья, – прервала её вдруг Варвара Петровна, – у тебя нет чего-нибудь особенного, о чём ты хотела бы мне сообщить?

– Нет, ничего, – немного подумала Даша и взглянула на Варвару Петровну своими светлыми глазами.

– На душе, на сердце, на совести?

– Ничего, – тихо, но с какой-то угрюмой твердостью повторила Даша.

– Так я и знала! Знай, Дарья, что я никогда в тебе не усомнюсь. Теперь сиди и слушай. Пересядь на этот стул, садись напротив, я хочу тебя видеть всю. Вот так. Слушай, – ты хочешь замуж?

Даша ответила вопросительным долгим взглядом, не слишком, впрочем, удивлённым.

– Стой, молчи. Во-первых, есть разница в возрасте, большая очень; но ведь ты лучше всех знаешь, какая это ерунда. Ты рассудительна, и в твоей жизни не должно быть ошибок. Впрочем, он ещё красивый мужчина... Одним словом, Степан Трофимович, которого ты всегда уважала. Ну?

Даша посмотрела еще более вопросительно, и на этот раз не только с удивлением, но и заметно покраснев.

— Стой, молчи, не спеши! Хоть у тебя и есть деньги, по моему завещанию, но умру я, что с тобой будет, даже с деньгами? Обманут, разведут на бабки, и пропала. А так ты жена известного человека. Смотри с другой стороны: умри я сейчас, – хоть я и обеспечу его, – что с ним будет? А на тебя-то я понадеюсь. Стой, я не договорила: он легкомысленный, мямля, бывает жесток, эгоист, привычки так себе, но ты его цени, во-первых, потому что есть и гораздо хуже. Не за какого-нибудь же отморозка я тебя с рук сбить хочу, ты же не подумала чего? А главное, потому что я прошу, потому и будешь ценить, – оборвала она вдруг раздражительно, – слышишь? Что ты уперлась?

Даша всё молчала и слушала.

— Стой, подожди еще. Он как баба – но тебе же лучше. Жалкая, впрочем, баба; его совсем не стоило бы любить женщине. Но его стоит за беззащитность любить, и ты люби его за беззащитность. Ты ведь меня понимаешь? Понимаешь?

Даша кивнула утвердительно.

— Я так и знала, меньшего не ждала от тебя. Он тебя любить будет, потому что должен, должен; он обожать тебя должен! – как-то особенно раздражительно взвизгнула Варвара Петровна. – А впрочем, он и без долга в тебя влюбится, я ведь знаю его. К тому же я сама буду тут. Не беспокойся, я всегда буду тут. Он станет на тебя жаловаться, он клеветать на тебя начнет, шептаться будет о тебе с первым встречным, будет ныть, вечно ныть; эсэмэски тебе будет писать из одной комнаты в другую, в день по две эсэмэски, но без тебя все-таки не проживет, а в этом и главное. Заставь слушаться; не сумеешь заставить – дура будешь. Повеситься захочет, грозить будет – не верь; один только вздор! Не верь, а все-таки держи ухо остро, неровен час и повесится: с такими-то и бывает; не от силы, а от слабости вешаются; а потому никогда не доводи до последней черты, – и это первое правило в супружестве. Помни тоже, что он

творческий человек. Слушай, Дарья: нет выше счастья, как собой пожертвовать. И к тому же ты мне сделаешь большое удовольствие, а это главное. Ты не думай, что я по глупости сейчас сбрендил; я понимаю, что говорю. Я эгоистка, будь и ты эгоисткой. Я ведь не неволю; всё в твоей воле, как скажешь, так и будет. Ну, что ж уселась, говори что-нибудь!

— Мне ведь всё равно, Варвара Петровна, если уж непременно надо замуж выйти, — твердо проговорила Даша.

— Непременно? Ты на что это намекаешь? — строго и пристально посмотрела на нее Варвара Петровна.

Даша молчала, ковыряя иголкой в вышивке.

— Ты хоть и умна, но ты сбрендил. Это хоть и правда, что я непременно теперь тебя вздумала замуж выдать, но это не по необходимости, а потому только, что мне так придумалось, и за одного только Степана Трофимовича. Не будь Степана Трофимовича, я бы и не подумала тебя сейчас выдавать, хоть тебе уж и двадцать лет... Ну?

— Я как вам угодно, Варвара Петровна.

— Как скажете, Варвара Петровна.

— Значит, согласна! Стой, не спеши, я еще не все сказала. По завещанию, тебе от меня полагается пятнадцать тысяч рублей. Я их тебе сразу после свадьбы отдам. Из них восемь тысяч ты ему передашь, точнее, не ему, а мне. У него долг на восемь тысяч, я его погашу, но он должен знать, что это твои деньги. Семь тысяч останутся у тебя, и ни копейки ему не давай. Его долги не плати никогда. Один раз заплатишь — потом не отделаешься. Впрочем, я всегда буду рядом. Вы будете получать от меня ежемесячно по десять тысяч рублей содержания, а в случае чего — тринадцать, плюс квартира и еда, как и сейчас. Только прислугу свою заведите. Деньги буду выдавать сразу за месяц, прямо тебе в руки. Но будь добра: иногда и ему что-нибудь дай, и друзей его принимай, раз в неделю, не чаще. Но я сама буду следить. А если я умру, ваша выплата не прекратится до самой его смерти, слышишь? Только до его смерти, потому что это его выплата, а не твоя. А тебе, кроме этих семи тысяч, которые у тебя останутся, если не будешь дурить, я еще восемь тысяч в завещании оставляю. И больше ничего от меня не жди, чтобы ты знала. Ну, согласна? Скажешь хоть что-нибудь?

— Я уже сказала, Варвара Петровна.

— Помни, у тебя полная свобода выбора, как захочешь, так и будет.

— Позвольте, Варвара Петровна, а Степан Трофимович вам уже что-то говорил?

— Нет, он ничего не говорил и не знает, но... сейчас заговорит!

Она моментально вскочила и накинула на плечи свой черный платок. Даша снова немного покраснела и вопросительно смотрела на нее. Варвара Петровна вдруг повернулась к ней с лицом, пылающим от гнева.

— Дура ты! — набросилась она на нее, как коршун. — Дура неблагодарная! Что у тебя в голове? Неужели ты думаешь, что я тебя хоть чем-то скомпрометирую, хоть на йоту? Да он сам на коленях будет ползать, просить, он от счастья должен умереть, вот как все будет! Ты же знаешь, что я тебя в обиду не дам! Или ты думаешь, что он тебя за эти восемь тысяч возьмет, а я тебя продаю? Дура, дура, все вы дуры неблагодарные! Подай сумку!

И она полетела пешком по мокрым тротуарам и временным деревянным настилам к Степану Трофимовичу.

VII

VII

Даша — её она бы не дала в обиду, это точно. Скорее, теперь она чувствовала себя её благодетельницей. Самое благородное негодование вспыхнуло в душе Варвары Петровны, когда, накидывая шаль, она поймала на себе смущенный взгляд Даши. Она искренне любила её с самого детства. Прасковья Ивановна справедливо называла Дашу её фавориткой. Варвара Петровна давно решила, что "характер у Даши совсем не братнин" (то есть, не похож на характер

её брата, Ивана Шатова), что она тихая, кроткая, способна на самопожертвование, преданная, скромная, рассудительная и, главное, благодарная. До сих пор Даша оправдывала все её ожидания. "В её жизни не будет ошибок", – сказала Варвара Петровна, когда девочке было двенадцать лет. И, так как она имела свойство привязываться упрямо и страстно к каждой пленившей её мечте, к каждому своему новому плану, к каждой мысли, показавшейся ей светлой, то сразу же решила воспитывать Дашу как родную дочь. Она отложила ей капитал и пригласила в дом репетитора, который занимался с ней онлайн. Потом наняла преподавателя английского, но вскоре отказалась от его услуг, непонятно почему. Приглашала учителей из гимназии, в том числе одного, который преподавал Даше французский по видеосвязи. Но и с ним пришлось расстаться. Одна бедная вдова обучала её игре на фортепиано. Но главным педагогом был всё-таки Степан Трофимович. По сути, он первый и открыл Дашу: он стал заниматься с тихим ребёнком ещё тогда, когда Варвара Петровна о ней и не думала. Удивительно, как к нему тянулись дети! Лизавета Николаевна Тушина училась у него с восьми лет до одиннадцати (разумеется, Степан Трофимович занимался с ней бесплатно и ни за что бы не взял деньги с Дроздовых). Он сам влюбился в прелестного ребёнка и рассказывал ей какие-то поэмы об устройстве мира, земли, об истории человечества. Лекции о первобытных народах были интереснее арабских сказок. Лиза, замиравшая от этих рассказов, смешно передразнивала Степана Трофимовича дома. Тот узнал об этом и однажды подсмотрел её врасплох. Сконфуженная Лиза бросилась к нему в объятия и заплакала. Степан Трофимович тоже, от восторга. Но Лиза вскоре уехала, и осталась одна Даша. Когда к Даше стали приходить учителя, Степан Трофимович оставил с ней свои занятия и мало-помалу перестал обращать на неё внимание. Так продолжалось долгое время. Однажды, когда ей было семнадцать лет, он вдруг был поражён её красотой. Это случилось за столом у Варвары Петровны. Он заговорил с девушкой, был доволен её ответами и предложил прочесть ей серьёзный курс истории русской литературы. Варвара Петровна похвалила его за прекрасную мысль, а Даша была в восторге. Степан Трофимович стал готовиться к лекциям, и они начались. Начали с древнейшего периода; первая лекция прошла увлекательно; Варвара Петровна присутствовала. Когда Степан Трофимович закончил и, уходя, объявил ученице, что в следующий раз приступит к разбору "Слова о полку Игореве", Варвара Петровна вдруг встала и объявила, что лекций больше не будет. Степан Трофимович обиделся, но промолчал, Даша покраснела; тем и кончилась затея. Произошло это ровно за три года до теперешней неожиданной фантазии Варвары Петровны.

Да, "Дарью" она бы в обиду не дала. Наоборот, сейчас считала себя её чуть ли не спасительницей. Благородный гнев вспыхнул в её душе, когда, набрасывая шаль на плечи, она поймала на себе смущённый взгляд Даши. Она искренне любила её с детства. Прасковья Ивановна справедливо называла Дарью Павловну её любимицей. Варвара Петровна давно решила, что "характер у Даши совсем не братнин" (то есть, не похож на характер её брата, Ивана Шатова). Даша тихая, кроткая, способна на самопожертвование, преданная, скромная, рассудительная и, главное, благодарная. До сих пор Даша оправдывала все её ожидания. "В её жизни не будет ошибок", – сказала Варвара Петровна, когда девочке было двенадцать лет. Она имела свойство упрямо и страстно привязываться к каждой пленившей её мечте, к каждому новому плану, к каждой мысли, показавшейся ей светлой. Поэтому она сразу решила воспитывать Дашу как родную дочь. Немедленно открыла ей счёт в банке и пригласила репетиторов. Преподаватели из университета, в том числе один настоящий француз, обучали Дашу языку. Но потом вдруг всем отказали. Одна бедная вдова учила игре на фортепиано. Но главным педагогом был Степан Трофимович. По правде говоря, он первым и заметил Дашу. Он стал заниматься с тихим ребёнком ещё тогда, когда Варвара Петровна о ней и не думала. Удивительно, как к нему тянулись дети! Лизавета Николаевна Тушина училась у него с восьми лет до одиннадцати (разумеется, Степан Трофимович учил её бесплатно и ни за что бы не взял денег у Дроздовых). Он влюбился в прелестного ребёнка и рассказывал ей какие-то поэмы об устройстве мира, земли,

об истории человечества. Лекции о древних цивилизациях были интереснее сказок. Лиза, замороженная этими рассказами, смешно передразнивала Степана Трофимовича дома. Тот узнал об этом и однажды подсмотрел её врасплох. Сконфуженная Лиза бросилась к нему в объятия и заплакала. Степан Трофимович тоже, от восторга. Но Лиза уехала, и осталась одна Даша. Когда к Даше стали ходить репетиторы, Степан Трофимович оставил свои занятия с ней и перестал обращать на неё внимание. Так продолжалось долгое время. Однажды, когда ей было семнадцать лет, он был поражён её красотой. Это случилось за обедом у Варвары Петровны. Он заговорил с девушкой, был доволен её ответами и предложил прочитать ей курс истории русской литературы. Варвара Петровна похвалила его за прекрасную мысль, а Даша была в восторге. Степан Трофимович стал готовиться к лекциям, и они начались. Начали с древнейшего периода. Первая лекция прошла увлекательно. Варвара Петровна присутствовала. Когда Степан Трофимович закончил и объявил ученице, что в следующий раз приступит к разбору "Слова о полку Игореве", Варвара Петровна вдруг встала и объявила, что лекций больше не будет. Степан Трофимович обиделся, но промолчал. Даша покраснела. На этом всё и закончилось. Это произошло ровно за три года до нынешней неожиданной прихоти Варвары Петровны.

Бедный Степан Трофимович сидел один и ничего не подозревал. В грустном раздумье смотрел в окно, не появится ли кто-нибудь из знакомых. Но никто не шёл. На улице моросил дождь, становилось холодно. Надо было растопить печь. Он вздохнул. Вдруг страшное видение предстало его глазам: Варвара Петровна в такую погоду и в такой час! И пешком! Он был так поражён, что забыл переодеться и принял её в своей розовой ватной куртке.

Бедный Степан Трофимович сидел в квартире один и ни о чём таком не подозревал. Задумчиво поглядывал в окно, не появится ли кто из знакомых. Но никто не спешил. На улице моросил дождь, становилось зябко; пора бы включить обогреватель, подумал он со вздохом. И вдруг – как гром среди ясного неба! – Варвара Петровна, да в такую погоду, да в такой час! И пешком! Он так растерялся, что даже не успел переодеться и встретил её в своей любимой розовой толстовке.

– Ma bonne amie!.. – слабо пролепетал он, приветствуя её.

– Вы один, и это прекрасно! Терпеть не могу ваших друзей! Вечно накурено, дышать нечем! И чай не допит, а уже полдень! У вас вечный хаос! Что это за бумажки на полу? Настасья, Настасья! Где твои глаза? Открой окна, форточки, двери – всё нараспашку! А мы пойдём в гостиную, у меня к вам дело. Да подмети ты хоть раз в жизни!

– Так ведь сорят-с! – пропищала Настасья раздражённо-жалобным голосом.

– А ты мети, хоть десять раз в день! Ужасная у вас гостиная, – констатировала Варвара Петровна, войдя в комнату. – Закрой дверь плотнее, а то подслушивать начнёт. Обои надо срочно менять. Я же присылала мастера с образцами, почему ничего не выбрали? Садитесь и слушайте. Садитесь же, наконец, прошу вас. Куда вы опять? Куда?

– Я... сейчас, – донеслось из другой комнаты, – вот я и снова здесь!

– А, успели переодеться! – насмешливо оглядела она его. (Он накинул пиджак поверх толстовки.) Так будет больше соответствовать... нашей беседе. Садитесь же, прошу вас.

Она выложила всё сразу, чётко и убедительно. Упомянула и о сумме, которая ему так необходима. Подробно рассказала о будущем приданом. Степан Трофимович таращил глаза и нервно вздрагивал. Слышал всё, но не мог толком осознать. Пытался что-то сказать, но голос предательски дрожал. Понимал лишь одно: всё будет так, как она скажет, спорить бесполезно, и он – женатый человек, без вариантов.

– Mais, ma bonne amie, в третий раз, да в мои-то годы... и с таким ребёнком! – выдавил он наконец. – Mais c'est une enfant!

– Ребёнок, которому двадцать лет, слава богу! Не закатывайте глаза, прошу вас, вы не на сцене. Вы умны и образованны, но в жизни ничего не понимаете, за вами нужен постоянный присмотр. Я умру, и что с вами будет? А она станет вам хорошей сиделкой; девушка скромная,

надёжная, рассудительная; к тому же я буду рядом, не собираюсь пока умирать. Она – домашняя, ангел кротости. Эта счастливая мысль пришла мне ещё в Швейцарии. Вы понимаете, если я сама говорю, что она – ангел кротости?! – вдруг яростно воскликнула она. – У вас тут бардак, а она наведёт чистоту, порядок, всё будет блестяще... Да неужели я должна перед вами расшаркиваться, перечислять все выгоды, сватать! Да вы должны на коленях... Ах, пустой, малодушный человек!

– Но... я уже старик!

— Но... я ведь уже не молод!

— Что значат твои пятьдесят три? Это не старость, а зрелость. Ты видный мужчина, и сам это знаешь. И знаешь, как Дарья тебя уважает. Если со мной что случится, что с ней будет? А с тобой она в безопасности, и я спокойна. У тебя есть положение, имя, доброе сердце; ты получаешь пенсию, которую я считаю своим долгом. Ты, возможно, спасешь ее, спасешь! Во всяком случае, окажешь честь. Ты поможешь ей адаптироваться к жизни, разовьешь ее потенциал, направишь мысли. Сейчас многие страдают от неправильных установок! К тому времени и твои статьи будут готовы, и ты напомнишь о себе.

— Я как раз, — пробормотал он, уже польщенный умелой лестью Варвары Петровны, — собираюсь засесть за свои "Очерки из истории казачества"...

— Ну, вот видишь, как удачно все складывается.

— Но... она? Ты с ней говорила?

— О ней не беспокойся, и нечего тебе любопытствовать. Конечно, ты должен сам просить ее, умолять оказать тебе честь, понимаешь? Но не волнуйся, я буду рядом. К тому же ты ее любишь...

У Степана Трофимовича закружилась голова; стены поплыли. Была одна пугающая мысль, с которой он никак не мог справиться.

— *Excellente amie!* — дрогнул вдруг его голос, — я... я никогда не мог представить, что ты решишь выдать меня... за другую... женщину!

— Ты не девочка, Степан Трофимович; только девочек выдают, а ты сам женишься, — ядовито прошипела Варвара Петровна.

— *Oui, j'ai pris un mot pour un autre. Mais... c'est égal,* — растерянно уставился он на нее.

— Вижу, что *c'est égal,* — презрительно процедила она, — Господи! Да с ним обморок! Настасья, Настасья! Воды!

Но до воды не дошло. Он пришел в себя. Варвара Петровна взяла свой зонт.

— Я вижу, что с тобой сейчас не о чем говорить...

— *Oui, oui, je suis incapable.*

— Но к завтрашнему дню ты отдохнешь и все обдумаешь. Сиди дома, если что случится, дай знать, хоть ночью. Писем не пиши, читать не буду. Завтра же в это время приду сама, одна, за окончательным ответом, и надеюсь, что он будет положительным. Постарайся, чтобы никого не было и чтобы бардака не было, а это на что похоже? Настасья, Настасья!

Разумеется, на следующий день он согласился; да и не мог не согласиться. Тут было одно особое обстоятельство...

VIII

VIII

Так называемое "имение" Степана Трофимовича (ну, душ пятьдесят по старинке, рядом со "Скворешниками") на самом деле ему не принадлежало. Это было собственностью его первой жены, а теперь, соответственно, их сына, Петра Степановича Верховенского. Степан Трофимович был лишь опекуном и действовал по формальной доверенности на управление. Сделка для сына была выгодной: он получал от отца до тысячи рублей в год как доход с имения, хотя в новых реалиях оно едва ли приносило и пятьсот (а то и меньше). Как сложились такие отношения – одному богу известно. Впрочем, всю эту тысячу целиком высылала Варвара Пет-

ровна, Степан Трофимович не вкладывал ни копейки. Напротив, весь доход с земли оставлял себе, да еще и умудрился разорить имение, сдав землю в аренду какому-то дельцу и, втайне от Варвары Петровны, продав на сруб рощу – главную ценность. Эту рощу он распродал по частям уже давно. Стоила она тысяч восемь, а он взял всего пять. Но он часто проигрывал в карты, а просить у Варвары Петровны боялся. Она скрипела зубами, когда наконец узнала обо всем. И вот теперь сынок сообщает, что приедет сам продавать свои владения, во что бы то ни стало, и поручает отцу срочно заняться продажей. Разумеется, при благородстве и бескорыстии Степана Трофимовича его замучила совесть перед **se cher enfant** (этим дорогим ребенком), которого он последний раз видел лет девять назад в Питере, студентом. Изначально все имение могло стоить тысяч тринадцать-четырнадцать, теперь вряд ли кто дал бы и пять. Конечно, Степан Трофимович имел полное право, по доверенности, продать лес и, учитывая тысячу рублей ежегодного дохода, исправно высылаемую столько лет, сильно обезопасить себя при расчете. Но Степан Трофимович был благороден, со стремлениями высокими. В голове его родилась удивительно красивая мысль: когда Петруша приедет, он вдруг благородно выложит на стол максимальную цену – даже пятнадцать тысяч, без намека на высланные суммы, и крепко, со слезами, прижмет к груди **se cher fils**, чем и покончит со всеми счетами. Он начал осторожно намекать на эту идею Варваре Петровне. Говорил, что это придаст особый, благородный оттенок их дружеской связи... их "идею". Это выставит в таком бескорыстном и великодушном свете прежних отцов и вообще прежних людей по сравнению с новой, легкомысленной и социально активной молодежью. Много еще он говорил, но Варвара Петровна молчала. Наконец сухо заявила, что согласна купить их землю и даст за нее максимум – тысяч шесть-семь (а можно было и за четыре купить). О восьми тысячах, улетевших с рощей, она не сказала ни слова.

Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражен и задумался. Раньше еще теплилась надежда, что сынок, может, и не приедет вовсе – надежда, конечно, со стороны, по мнению постороннего. Сам же Степан Трофимович, как отец, с негодованием отверг бы такую мысль. Как бы то ни было, о Петруше доходили странные слухи. Сначала, окончив университет лет шесть назад, он слонялся без дела в Петербурге. Потом пришло известие, что он участвовал в составлении какой-то листовки и был привлечен к делу. Затем он вдруг оказался за границей, в Швейцарии, в Женеве – бежал, скорее всего.

Это случилось примерно за месяц до сватовства. Степан Трофимович был озадачен и погрузился в раздумья. Раньше еще теплилась надежда, что сынок, может, и вовсе не вернется, – надежда, конечно, странная, если смотреть со стороны. Сам Степан Трофимович, как любящий отец, с негодованием отвергал даже мысль о подобном. Как бы то ни было, до сих пор о Петре доходили какие-то обрывочные, тревожные слухи. Сначала, после окончания университета лет шесть назад, он бесцельно слонялся по Питеру. Потом вдруг пришло известие, что он участвовал в создании какой-то подпольной листовки и его привлекли к делу. А затем он неожиданно оказался за границей, в Швейцарии, в Женеве, – возможно, бежал, чтобы избежать проблем.

– Удивительно мне это, – говорил нам тогда Степан Трофимович, явно смущенный, – Петр – *c'est une si pauvre tête!* Он добрый, благородный, очень впечатлительный, и я так радовался, сравнивая его с современной молодежью в Петербурге, но *c'est un pauvre sire tout de même...* И, знаете, все от той же незрелости, сентиментальности! Их пленяет не реальность, а чувствительная, идеальная сторона, ну, скажем, левых идей, религиозный оттенок их, поэзия... с чужого голоса, разумеется. И, однако, мне-то, мне какво! У меня здесь и так хватает недоброжелателей, а там еще больше, припишут влиянию отца... Боже! Петр – двигатель протеста! В какие времена мы живем!

Впрочем, Петр довольно быстро прислал свой точный адрес из Швейцарии для привычной пересылки денег: значит, не совсем уж он был в бегах. И вот теперь, проведя за границей

около четырех лет, он внезапно возвращается в Россию и сообщает о скором приезде: следовательно, никаких обвинений ему не предъявлено. Более того, похоже, кто-то даже оказывал ему поддержку и покровительство. Сейчас он писал с юга России, где находился по какому-то частному, но важному поручению, и о чем-то там хлопотал. Все это было прекрасно, но где же взять остальные семь-восемь миллионов, чтобы предложить достойную цену за участок? А что, если поднимется шум и вместо выгодной сделки дойдет до суда? Что-то подсказывало Степану Трофимовичу, что чувствительный Петр не отступится от своих интересов. «Почему это, я заметил, – шепнул мне однажды Степан Трофимович, – почему все эти отчаянные левые и коммунисты одновременно такие невероятные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он левый, чем дальше зашел, тем сильнее и собственник... почему это? Неужели тоже от сентиментальности?» Я не знаю, прав ли Степан Трофимович в своем наблюдении; я знаю только, что Петр был в курсе продажи роши и прочего, а Степан Трофимович знал, что тот в курсе. Мне случалось читать и письма Петра к отцу; писал он крайне редко, раз в год, а то и реже. Только в последнее время, уведомляя о скором приезде, прислал два письма, почти одно за другим. Все письма были короткие, сухие, состояли из одних распоряжений, и поскольку отец с сыном еще с Петербурга были, по-модному, на "ты", то и письма Петра напоминали старинные указания помещиков из столицы своим управляющим в имениях. И вдруг теперь эти восемь миллионов, решающие дело, возникают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно понять, что взять их больше неоткуда. Разумеется, Степан Трофимович согласился.

Петр, впрочем, довольно быстро прислал свой точный адрес из Швейцарии для привычных денежных переводов: значит, не совсем уж и эмигрант. И вот, прожив за границей года четыре, вдруг объявляется снова в родных краях и сообщает о скором приезде: выходит, ни в чем не обвинен. Более того, похоже, кто-то даже принимает в нем участие и покровительствует ему. Писал он теперь с юга России, где находился по какому-то частному, но важному поручению, и о чем-то там хлопотал. Все это, конечно, прекрасно, но где же взять недостающие семь-восемь миллионов, чтобы составить приличную сумму для покупки земли? А что, если поднимется шум, и вместо выгодной сделки дойдет до суда? Что-то подсказывало Степану Трофимовичу, что расчетливый Петр не отступится от своих интересов.

"Почему, ты заметил, – шепнул мне однажды Степан Трофимович, – почему все эти радикальные активисты и сторонники коллективизации одновременно такие невероятные скряги, накопители, собственники? И чем больше он активист, чем дальше зашел, тем сильнее в нем собственник... почему так? Неужели тоже от излишней чувствительности?"

Не знаю, прав ли Степан Трофимович в своем наблюдении; знаю только, что Петр был в курсе продажи роши и прочего, а Степан Трофимович знал, что тот в курсе. Мне доводилось читать и письма Петра к отцу; писал он крайне редко, раз в год, а то и реже. Только в последнее время, уведомляя о скором приезде, прислал два письма, почти одно за другим. Все письма его были короткие, сухие, состояли из одних распоряжений, и так как отец с сыном еще со студенческих времен были, по-модному, на "ты", то и письма Петра напоминали старинные указания помещиков из столицы своим управляющим в имениях. И вдруг теперь эти восемь миллионов, решающие дело, возникают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно понять, что больше их взять неоткуда. Разумеется, Степан Трофимович согласился.

Он тут же после ее ухода послал за мной, а от всех остальных заперся на весь день. Конечно, поплакал, много и красиво говорил, много и сильно сбивался, случайно выдал каламбур и остался им доволен, потом была легкая истерика – одним словом, все произошло как обычно. После чего он достал фотографию своей жены, умершей уже двадцать лет назад, и жалобно начал взывать: "Простишь ли ты меня?" В общем, он был как-то сбит с толку. С горя мы немного выпили. Впрочем, он скоро и сладко заснул. Наутро мастерски завязал галстук, тщательно оделся и часто подходил смотреться в зеркало. Платок слегка сбрызнул духами,

совсем чуть-чуть, и, как только увидел Варвару Петровну в окно, поскорее взял другой платок, а надушенный спрятал под подушку.

Она едва вышла, как он тут же послал за мной, а от всех остальных заперся на весь день. Конечно, поплакал, долго и проникновенно говорил, путался в мыслях, нелепо пошутил и сам же остался доволен своей остротой. Потом немного понервничал – в общем, все прошло как по нотам. После чего достал фото своей покойной жены, умершей лет двадцать назад, и жалобно запричитал: «Простишь ли ты меня?» В целом, был совершенно потерянным. С горя мы немного выпили. Впрочем, он быстро и крепко уснул. Утром мастерски завязал галстук, тщательно оделся и то и дело подходил к зеркалу. Брызнул на платок немного парфюма, совсем чуть-чуть, и, как только увидел Варвару Петровну в окно, тут же схватил другой платок, а надушенный спрятал под подушку.

— Прекрасно! — похвалила Варвара Петровна, выслушав его согласие. — Во-первых, благородное решение, а во-вторых, вы прислушались к голосу разума, что с вами случается нечасто. Торопиться, впрочем, не стоит, — добавила она, разглядывая узел его белого галстука, — пока молчите, и я буду молчать. Скоро ваш день рождения; я буду у вас вместе с ней. Устройте вечерний чай, пожалуйста, без вина и закусок; впрочем, я сама все организую. Пригласите ваших друзей, — впрочем, мы вместе составим список. Накануне вы с ней поговорите, если будет нужно; а на вашем вечере мы не то чтобы объявим о помолвке или что-то в этом роде, а просто намекнем, дадим понять, без всякой помпезности. А там недели через две и свадьба, по возможности без лишнего шума... Даже вам обоим можно было бы уехать на время, сразу после загса, хоть в Москву, например. Я, может быть, тоже с вами поеду... Но главное, до тех пор молчите.

Степан Трофимович был удивлен. Он попытался было возразить, что ему необходимо поговорить с невестой, но Варвара Петровна раздраженно на него набросилась:

— Зачем это? Во-первых, еще ничего не решено...

— Как не решено! — пробормотал жених, окончательно ошеломленный.

— Именно так. Я еще посмотрю... А впрочем, все будет так, как я сказала, и не беспокойтесь, я сама ее подготовлю. Вам совсем незачем. Все необходимое будет сказано и сделано, а вам там делать нечего. Для чего? Какая вам роль? И сами не ходите, и писем не пишете. И ни слуху ни духу, прошу вас. Я тоже буду молчать.

Она явно не хотела объясняться и ушла, казалось, расстроенная. Видимо, чрезмерная готовность Степана Трофимовича ее поразила. Увы, он совершенно не понимал своего положения, и вопрос еще не предстал перед ним с других сторон. Напротив, появился какой-то новый тон, что-то победоносное и легкомысленное. Он куражился.

Она явно не хотела продолжать разговор и ушла, кажется, расстроенная. Видимо, ее поразила эта внезапная готовность Степана Трофимовича. Увы, он совершенно не понимал, в каком положении оказался, и не видел ситуацию с других сторон. Наоборот, в его голосе появились какие-то новые нотки, что-то победное и легкомысленное. Он просто дурачился.

— Это мне нравится! — воскликнул он, остановившись передо мной и разведя руками. — Ты слышал? Она хочет довести до того, чтобы я, наконец, передумал! Но ведь у меня тоже может лопнуть терпение, и я... передумаю! "Сиди дома, и нечего тебе туда ходить", но почему я вообще должен жениться? Только потому, что у нее появилась какая-то смешная фантазия? Я серьезный человек и не обязан подчиняться прихотям взбалмошной женщины! У меня есть обязанности перед сыном и... и перед самим собой! Я жертвую собой — она это понимает? Может, я и согласился, потому что мне скучно жить и все равно. Но она может меня разозлить, и тогда мне уже будет не все равно; я обижусь и откажусь. Et enfin, le ridicule... Что скажут в клубе? Что скажет... этот Игнатов? "Может, еще ничего и не будет" — ну как тебе такое? Да это же просто верх наглости! Это... это что такое? — Я как мобилизованный, как загнанный в угол человек!

И в то же время какое-то капризное самодовольство, что-то легкомысленно-игривое проглядывало сквозь все эти жалобные восклицания. Вечером мы снова выпили.

Глава третья
Чужие косяки

I

Прошла неделя, и дело как-то начало двигаться.

Замечу мимоходом, что эта несчастная неделя была для меня мучительной. Я почти неотлучно находился рядом с моим бедным, сосватанным другом, как его ближайший доверенное лицо. Его тяготил, главным образом, стыд, хотя мы никого не видели и все время сидели одни. Но он стеснялся даже меня, и чем больше сам мне открывался, тем больше на меня за это злился. Ему казалось, что все уже знают, весь город, и он боялся показаться не только в клубе, но и в своем кругу. Даже гулять выходил, чтобы хоть немного подышать воздухом, только в сумерках, когда уже совсем стемнеет.

Прошла неделя, а он все еще не знал, жених он или нет, и никак не мог это выяснить, как ни старался. С невестой он еще не виделся, даже не знал, невеста ли она ему; даже не знал, есть ли во всем этом хоть что-нибудь серьезное! К себе Варвара Петровна почему-то категорически не хотела его пускать. На одно из его первых писем (а он написал их ей целую кучу) она прямо ответила просьбой избавить ее на время от всяких с ним контактов, потому что она занята, а имея и сама сообщить ему много очень важного, нарочно ждет для этого более свободного времени, и сама даст ему знать, когда к ней можно будет прийти. Письма же обещала присылать обратно нераспечатанными, потому что это "одно баловство". Эту записку я сам читал; он мне ее показал.

И всё же, все эти придирки и неясности, всё это было ничто по сравнению с главной его тревогой. Эта тревога мучила его невыносимо, неотступно; от неё он исхудал и совсем пал духом. Это было нечто такое, чего он стыдился больше всего и о чём никак не хотел говорить даже со мной; напротив, при случае врал и юлил передо мной, как школьник, попавшийся на списывании; а между тем сам же названивал мне каждый день, двух часов без меня выдержать не мог, нуждаясь во мне, как в воде или в воздухе.

Такое поведение задевало моё самолюбие. Само собой разумеется, что я давно уже догадался, в чём его главная тайна, и видел всё насквозь. По моему тогдашнему убеждению, раскрытие этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимовича, не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек ещё молодой, немного негодовал на его неискренность и на некрасивость некоторых его подозрений. Сгоряча — и, признаюсь, от скуки быть доверенным лицом — я, может быть, слишком его осуждал. По юношеской жестокости я добивался его собственного признания во всём, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в некоторых вещах, пожалуй, и трудно. Он тоже меня насквозь понимал, то есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь. Пожалуй, раздражение моё было мелочным и глупым; но взаимное уединение иногда очень вредит даже самой крепкой дружбе. С определённой точки зрения он верно понимал некоторые стороны своего положения и даже весьма тонко определял его в тех пунктах, в которых скрываться не считал нужным.

— О, была ли она такой тогда! — проговаривался он иногда мне о Варваре Петровне. — Была ли она такой прежде, когда мы с ней говорили... Знаете ли вы, что тогда она умела ещё говорить? Можете ли вы поверить, что у неё тогда были мысли, свои собственные мысли? Теперь всё переменилось! Она говорит, что всё это одна только старая болтовня! Она презирает прежнее... Теперь она какой-то завхоз, экономайзер, озлобленный человек, и всё ворчит...

— За что же ей теперь ворчать, когда вы выполнили её требование? — возразил я ему. Он тонко посмотрел на меня.

— Cher ami, если бы я не согласился, она бы рассердилась ужасно, ужа-а-сно! но всё-таки меньше, чем теперь, когда я согласился.

Он остался доволен этой своей шуткой, и мы в тот вечер приговорили бутылку коньяка. Но это было лишь короткое затишье; на следующий день он был еще мрачнее и раздражительнее, чем обычно.

Больше всего меня бесило, что он никак не решался нанести визит приехавшим Дроздовым, возобновить знакомство. Я слышал, они сами этого хотели, спрашивали о нем. А он, казалось, только об этом и мечтал. О Лизеве Николаевне говорил с каким-то непонятным восторгом. Конечно, он вспоминал в ней ту девочку, которую когда-то любил; но, кроме того, почему-то верил, что рядом с ней сразу же найдет облегчение своим нынешним страданиям, даже разрешит какие-то важные вопросы. Он представлял Лизвету Николаевну каким-то совершенно особенным человеком. И все равно не шел к ней, хотя каждый день собирался. А мне самому ужасно хотелось с ней познакомиться, быть представленным ей, и рассчитывать я мог только на Степана Трофимовича. Огромное впечатление на меня производили мои случайные встречи с ней на улице, когда она выезжала на прогулку верхом, в бриджах и на прекрасном коне, в сопровождении ее так называемого родственника, красивого офицера, племянника покойного генерала Дроздова. Мое увлечение длилось недолго, и я довольно быстро понял всю нереальность своей мечты, но это мгновение все-таки было, и можно представить, как я тогда злился на моего бедного друга за его упрямое затворничество.

Больше всего меня бесило, что он даже не пытался наладить контакт с вернувшимися Дроздовыми. Говорили, они сами этого хотели, спрашивали о нём, а он только вздыхал. О Елизавете Николаевне он отзывался с каким-то нездоровым восторгом. Конечно, он помнил её ребёнком, которого когда-то любил. Но, кроме того, почему-то верил, что рядом с ней найдёт облегчение своим нынешним страданиям и даже разрешит все свои сомнения. Он видел в Елизавете Николаевне какое-то необыкновенное существо. И всё равно не шёл к ней, хотя каждый день собирался. А мне самому ужасно хотелось быть представленным ей, и рассчитывать я мог только на Степана Трофимовича. Огромное впечатление производили на меня случайные встречи с ней на улице, когда она выезжала на прогулку верхом, в амазонке, на красивом коне, в сопровождении её так называемого родственника, видного офицера, племянника покойного генерала Дроздова. Моё увлечение было мимолётным, я быстро осознал всю нереальность своей мечты, но оно всё же было, и можно представить, как я злился на своего друга за его добровольное заточение.

Мы заранее всех предупредили, что Степан Трофимович временно никого не принимает и просит не беспокоить. Он настоял на официальном объявлении, хотя я отговаривал. Я сам обошёл всех по его просьбе и объяснил, что Варвара Петровна поручила нашему "старик" (так мы между собой называли Степана Трофимовича) срочную работу, разобрать старые документы за несколько лет. Он заперся, а я ему помогаю, и так далее. Только к Липутину я не успел зайти и всё откладывал. Вернее, боялся. Знал, что он ничему не поверит, решит, что от него что-то скрывают, и сразу же побежит по городу собирать сплетни. Пока я всё это обдумывал, случайно столкнулся с ним на улице. Оказалось, он уже всё узнал от тех, кого я предупредил. Но, странно, он не стал расспрашивать о Степане Трофимовиче, а наоборот, прервал меня, когда я начал извиняться, и сразу перескочил на другую тему. Видимо, у него накопилось много новостей, он был взволнован и рад, что нашёл слушателя. Он рассказывал о городских новостях, о приезде жены нового мэра "с новыми веяниями", об оппозиции в местном отделении "Единой России", о том, что все говорят о новых идеях, и как это ко всем привязалось, и так далее. Он говорил минут пятнадцать, и так забавно, что я не мог оторваться. Хотя я его терпеть не мог, признаюсь, у него был талант заставлять себя слушать, особенно когда он злился. Мне кажется, он был прирождённым шпионом. Он всегда знал все последние новости и всю подноготную города, особенно в отношении скандалов, и удивительно, как он принимал

близко к сердцу вещи, которые его совершенно не касались. Мне всегда казалось, что главная черта его характера – зависть. Когда я вечером рассказал Степану Трофимовичу о встрече с Липутиным, тот, к моему удивлению, очень взволновался и спросил: "Липутин знает или нет?" Я стал доказывать, что он не мог так быстро узнать, да и неоткуда, но Степан Трофимович настаивал на своём.

Только к Липутину я не успел пойти, все откладывал – точнее, боялся. Я знал, что он ни одному моему слову не поверит, сразу решит, что тут какой-то секрет, который скрывают именно от него. И как только я выйду, он тут же побежит по всему городу выведывать и распустить сплетни. Пока я все это обдумывал, мы случайно столкнулись с ним на улице. Оказалось, он уже все узнал от наших, тех самых, кого я предупредил. Но, странное дело, он не только не стал расспрашивать о Степане Трофимовиче, а наоборот, прервал меня, когда я начал извиняться, что не зашел раньше, и тут же перескочил на другую тему.

Правда, у него накопилось новостей. Он был очень взволнован и обрадовался, что нашел слушателя. Он начал говорить о городских новостях, о приезде чиновницы из области "с новыми указаниями", об оппозиции, которая уже сформировалась в местном отделении партии, о том, что все говорят о новых подходах, и как это всем надоело, и так далее. Он говорил минут пятнадцать, и так забавно, что я не мог оторваться. Хотя я его терпеть не мог, признаюсь, у него был талант заставить себя слушать, особенно когда он на что-то сильно злился.

Этот человек, по-моему, был прирожденный информатор. Он всегда знал самые свежие новости и все грязные подробности о жизни города, и удивительно, как близко к сердцу он принимал вещи, которые его совершенно не касались. Мне всегда казалось, что главная черта его характера – зависть.

Когда я в тот же вечер рассказал Степану Трофимовичу о встрече с Липутиным и нашем разговоре, тот, к моему удивлению, очень разволновался и задал мне странный вопрос: "Липутин знает или нет?" Я стал доказывать, что он не мог так быстро узнать, да и неоткуда, но Степан Трофимович настаивал на своем.

– Вот верите или нет, – неожиданно заключил он, – а я убежден, что ему не только известно все в деталях о нашей ситуации, но что он знает еще что-то сверх того, что-то такое, чего ни вы, ни я еще не знаем, а может быть, никогда и не узнаем, или узнаем, когда уже будет поздно, когда уже ничего нельзя будет изменить!

Я промолчал, но эти слова многое значили. После этого целых пять дней мы ни разу не упомянули о Липутине. Мне было ясно, что Степан Трофимович очень жалел, что выдал свои подозрения и проговорился.

II

Однажды утром, где-то на седьмой или восьмой день после согласия Степана Трофимовича на брак, около одиннадцати, когда я спешил к моему многострадальному другу, со мной произошла интересная встреча.

Я столкнулся с Кармазиновым, "великим писателем", как его называл Липутин. Я читал Кармазинова с детства. Его рассказы и повести были известны всему прошлому поколению, да и нашему тоже; я ими зачитывался, они были наслаждением моей юности. Потом я немного охладил к его творчеству; произведения с "актуальной повесткой", которые он писал в последнее время, мне нравились уже не так, как его ранние работы, полные непосредственной поэзии. А самые последние его сочинения мне и вовсе не нравились.

Вообще говоря, если позволите высказать мое мнение в таком щекотливом вопросе, все эти наши таланты средней руки, которых при жизни обычно принимают чуть ли не за гениев, не только исчезают почти бесследно из памяти людей после смерти, но бывает, что и при жизни, как только подрастает новое поколение, сменяющее то, при котором они творили, их забывают и игнорируют с поразительной быстротой. Как-то это у нас происходит внезапно, словно смена декораций в театре. Конечно, это совсем не то, что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами,

Вольтерами, со всеми этими деятелями, которые пришли сказать свое новое слово! Правда и то, что и сами эти господа таланты средней руки, на закате своих лет, обычно самым жалким образом исписываются, даже не замечая этого. Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали необычайную глубину идей и от которого ждали серьезного влияния на общество, обнаруживает под конец такую пустоту и незначительность своей основной идеи, что никто даже и не жалеет о том, что он так быстро исписался. Но седые старички этого не замечают и сердятся. Их самолюбие, именно под конец их карьеры, иногда достигает невероятных размеров. Бог знает, за кого они себя принимают, по крайней мере, за небожителей. Про Кармазинова рассказывали, что он дорожит связями с влиятельными людьми и с высшим обществом чуть ли не больше собственной души. Говорили, что он встретит вас, обласкает, очарует своим простодушием, особенно если вы ему чем-нибудь нужны, и, конечно, если вас ему предварительно представят. Но при первом же высокопоставленном чиновнике, при первой даме из высшего общества, при первом человеке, которого он боится, он сочтет своим долгом забыть вас с самым оскорбительным пренебрежением, как будто вы щепка или муха, прямо тут же, когда вы еще не успели от него отойти; он всерьез считает это самым изысканным тоном. Несмотря на безупречную выдержку и отличное знание хороших манер, он, говорят, до того самолюбив, до такой степени подвержен истерикам, что никак не может скрыть своей авторской раздражительности даже в тех кругах общества, где мало интересуются литературой. Если же кто-нибудь случайно озадачивал его своим равнодушием, то он обижался болезненно и старался отомстить.

Вообще, если позволите высказать своё мнение по столь деликатному вопросу, все эти наши таланты средней руки, которых при жизни чуть ли не в гении записывают, как правило, исчезают из памяти людей почти бесследно и внезапно, стоит им умереть. А бывает, что и при жизни, как только подрастает новое поколение, сменяющее то, при котором они блистали, их забывают и игнорируют с поразительной скоростью. Словно декорации в театре меняются. Это совсем не то, что с Пушкиным, Гоголем, Мольером, Вольтером – со всеми теми, кто пришел сказать новое слово! Правда и то, что и сами эти таланты средней руки к закату своей карьеры обычно самым жалким образом исписываются, даже не замечая этого. Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали невероятную глубину мысли и от которого ждали огромного влияния на общество, под конец демонстрирует такую пустоту и незначительность своей основной идеи, что никто даже не сожалеет о том, что он так быстро иссяк. Но седые старички этого не видят и обижаются. Самолюбие их, особенно в конце пути, иногда достигает невероятных размеров. Бог знает, за кого они себя принимают – как минимум, за небожителей.

Про Кармазинова рассказывали, что он дорожит связями с влиятельными людьми и высшим обществом чуть ли не больше собственной души. Говорили, что он встретит вас, обласкает, очарует своим простодушием, особенно если вы ему чем-то нужны, и, конечно, если вас ему предварительно рекомендовали. Но при первом же генерале, при первой графине, при первом человеке, которого он побаивается, он сочтет своим священным долгом забыть вас с самым оскорбительным пренебрежением, словно вы щепка или муха, прямо там же, не успеете вы от него отойти. Он искренне считает это высшим проявлением хорошего тона. Несмотря на безупречную выдержку и прекрасное знание этикета, он, говорят, настолько самолюбив, до такой степени истеричен, что никак не может скрыть своей авторской раздражительности даже в тех кругах, где литературой мало интересуются. Если же кто-то случайно озадачивал его своим равнодушием, то он обижался до глубины души и старался отомстить.

Примерно год назад я читал в одном журнале его статью, написанную с ужасной претензией на наивную поэзию и психологию. Он описывал, как сбили беспилотник где-то под Белгородом, свидетелем чего он якобы был, и видел, как спасатели разбирали обломки и вытаскивали раненых. Вся статья, довольно длинная и многословная, была написана исключительно с целью выставить себя самого. Так и читалось между строк: "Интересуйтесь мной, смотрите,

каким я был в эти минуты. Зачем вам этот беспилотник, обломки, воронка? Я ведь достаточно описал вам всё это своим могучим пером. Чего вы смотрите на эту женщину с окровавленным лицом, потерявшую дом? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стою спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад; я закрываю глаза – не правда ли, как это интересно?" Когда я поделился своим мнением о статье Кармазинова со Степаном Трофимовичем, он со мной согласился.

Когда пошли слухи, что Кармазинов приедет, я, разумеется, очень захотел его увидеть и, если возможно, познакомиться с ним. Я знал, что мог бы это сделать через Степана Трофимовича; они когда-то были друзьями. И вот вдруг я встречаюсь с ним на перекрестке. Я сразу узнал его; мне его показали дня три назад, когда он проезжал в машине с какой-то чиновницей из администрации.

Это был невысокий, чопорный старичок, лет, впрочем, не более пятидесяти пяти, с довольно румяным личиком, с густыми седенькими локончиками, выбившимися из-под модной кепки и завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушек его. Чистенькое личико его было не совсем красивым, с тонкими, длинными, хитро сложенными губами, с несколько мясистым носом и с востренькими, умными, маленькими глазками. Он был одет как-то не по сезону, в каком-то легком плаще, какой, например, носили бы в это время где-нибудь в Европе. Но, по крайней мере, все мелкие детали его костюма: запонки, воротничок, пуговицы, модные очки в тонкой оправе, кольцо – непременно были такие же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. Я уверен, что летом он ходит непременно в каких-нибудь ярких мокасилах с перламутровыми пряжками сбоку. Когда мы столкнулись, он приостановился на повороте улицы и осматривался со вниманием. Заметив, что я любопытно смотрю на него, он медовым, хотя несколько крикливым голосом спросил меня:

– Подскажите, пожалуйста, как мне быстрее выйти на улицу Быкова?

– На улицу Быкова? Да это здесь, сразу же, – воскликнул я в необыкновенном волнении.

– Всё прямо по этой улице, а потом второй поворот налево.

– Очень вам благодарен.

Проклятье на эту минуту: я, кажется, оробел и смотрел подобострастно! Он мигом всё это заметил и, конечно, тут же всё понял, то есть понял, что мне уже известно, кто он такой, что я его читал и восхищался им с самого детства, что я теперь оробел и смотрю подобострастно. Он улыбнулся, кивнул еще раз головой и пошел прямо, как я указал ему. Не знаю, зачем я повернул за ним следом; не знаю, зачем я пробежал рядом с ним десять шагов. Он вдруг опять остановился.

– А не могли бы вы мне подсказать, где здесь поблизости стоянка такси? – прокричал он мне снова.

Скверный крик; скверный голос!

— Мерзкий голос! Бр-р...

— Такси? Тут рядом стоянка, у собора, там всегда есть, — и я чуть не сорвался бежать за машиной. Подозреваю, он только этого и ждал. Конечно, я тут же одумался и замер, но он прекрасно заметил мой порыв и продолжал смотреть на меня с этой гадкой ухмылкой. И тут случилось то, чего я никогда не забуду.

Он вдруг выронил маленький кейс, который держал в левой руке. Впрочем, не кейс, а какую-то коробочку, или, скорее, портфельчик, или, еще лучше, клатч, как у старых модниц, хотя, не знаю, что это было, но я, кажется, рванулся его поднять.

Я почти уверен, что не поднял, но первое движение было очевидным; скрыть его я уже не мог и покраснел, как дурак. Хитрец моментально выжал из ситуации максимум.

— Не стоит, я сам, — очаровательно произнес он, то есть, когда уже убедился, что я не собираюсь поднимать его клатч, поднял его сам, словно опережая меня, кивнул еще раз и пошел дальше, оставив меня в дураках. Как будто я сам поднял. Минут пять я чувствовал

себя полным идиотом; но, подходя к дому Степана Трофимовича, вдруг расхохотался. Встреча показалась мне такой нелепой, что я тут же решил развлечь Степана Трофимовича рассказом и даже изобразить ему всю сцену в лицах.

III

Но на этот раз, к моему удивлению, я застал его в совершенно ином состоянии. Он, правда, с какой-то жадностью набросился на меня, как только я вошел, и стал слушать, но с таким растерянным видом, что сначала, видимо, вообще не понимал, о чем я говорю. Но стоило мне упомянуть Кармазинова, как он совершенно вышел из себя.

— Не говорите мне, не произносите! — воскликнул он чуть ли не в ярости, — вот, вот, смотрите, читайте! Читайте!

Он выдвинул ящик стола и вышвырнул на стол три небольших клочка бумаги, исписанных наскоро карандашом, все от Варвары Петровны. Первая записка была от позавчера, вторая от вчера, а последняя пришла сегодня, всего час назад; содержание пустое, все о Кармазинове, и выдавали тщетное и честолюбивое волнение Варвары Петровны от страха, что Кармазинов забудет ей нанести визит. Вот первая, от позавчера (вероятно, была и от третьего дня, а может быть, и от четвертого):

«Если он наконец удостоит вас сегодня, то обо мне, прошу, ни слова. Ни малейшего намека. Не заводите разговор и не напоминайте.

В. С.»

Вчерашняя:

«Если он решится наконец сегодня утром вам нанести визит, благороднее всего, я думаю, совсем его не принять. Так по-моему, не знаю, как по-вашему.

В. С.»

Сегодняшняя, последняя:

«Я убеждена, что у вас там бардак и дым коромыслом от сигарет. Я вам пришлю Марию и Фомушку; они в полчаса все уберут. А вы не мешайте и посидите на кухне, пока убирают. Посылаю бухарский ковер и две китайские вазы: давно собиралась вам подарить, и сверх того моего Тенира (на время). Вазы можно поставить на подоконник, а Тенира повесьте справа над портретом Гете, там виднее и по утрам всегда свет. Если он наконец появится, примите изысканно вежливо, но постарайтесь говорить о пустяках, о чем-нибудь научном, и с таким видом, как будто вы вчера только расстались. Обо мне ни слова. Может быть, зайду взглянуть у вас вечером.

В. С.

Р. S. Если и сегодня не приедет, то совсем не приедет».

"Если и сегодня не приедет, значит, все кончено," — прочитал я сообщение и удивился, как его так взволновала такая ерунда. Поднял на него взгляд и заметил, что, пока я читал, он успел сменить свой обычный серый галстук на черный тактический. Куртка и рюкзак лежали на стуле. Сам он был бледный, и даже руки дрожали.

— Да плевать мне на ее переживания! — выпалил он, отвечая на мой вопросительный взгляд. — Ей есть дело до волонтеров, а на мои сообщения она не отвечает! Вот, вот непрочитанное сообщение, которое она вчера вернула, вот здесь, на столе, под книгой, под "Беспилотниками". Какое мне дело, что она убивается из-за этого Николая! Плевать мне, и я заявляю о своей свободе! К черту этих волонтеров! К черту эту Лембке! Я дроны спрятал в коридор, а тепловизор в шкаф, а от нее потребовал, чтобы она немедленно приняла меня. Слышишь: потребовал! Я отправил ей такое же короткое сообщение, от руки, незашифрованное, с Настей, и жду. Я хочу, чтобы Дарья Павловна сама мне объявила все в лицо, перед лицом неба, или хотя бы перед тобой. Ты же меня поддержишь, как друг и свидетель, верно? Я не хочу оправдываться, я не хочу врать, я не хочу тайн, я не допущу тайн в этом деле! Пусть мне во всем признаются, откровенно, просто, по-человечески, и тогда... тогда я, может быть, удивлю всех

своим великодушием!.. Я что, мразь какая-то, по-твоему? – заключил он вдруг, грозно смотря на меня, будто это я считал его мразью.

Я предложил ему выпить воды; я никогда не видел его таким. Все время, пока говорил, он метался по комнате, но вдруг остановился передо мной в какой-то странной позе.

– Неужели ты думаешь, – начал он снова с болезненным высокомерием, оглядывая меня с ног до головы, – неужели ты можешь предположить, что я, Степан Верховенский, не найду в себе достаточно сил, чтобы, взяв свой вещмешок – свой нищенский вещмешок! – и взвалив его на плечи, уйти за блокпост и исчезнуть отсюда навсегда, если того потребует честь и великий принцип независимости? Степану Верховенскому не впервой отвечать великодушием на деспотизм, пусть даже на деспотизм сумасшедшей женщины, то есть на самый обидный и жестокий деспотизм, какой только может быть, несмотря на то, что ты сейчас, кажется, позволил себе усмехнуться моим словам! О, ты не веришь, что я смогу найти в себе столько великодушия, чтобы закончить жизнь у фермера разнорабочим или умереть от голода под забором! Отвечай, отвечай немедленно: веришь ты или нет?

Но я нарочно промолчал. Я даже сделал вид, что не решаюсь обидеть его отрицательным ответом, но и утвердительно ответить не могу. Во всем этом раздражении было что-то, что меня обижало, и не лично, о нет! Но... я потом объясню. Он даже побледнел.

Я нарочно промолчал. Даже сделал вид, что боюсь его обидеть отказом, но и согласиться не могу. Во всем этом напряжении было что-то, что меня задевало, и не лично, нет! Но... потом объясню. Он даже побледнел.

— Может быть, тебе скучно со мной, Г-в (это моя фамилия), и ты бы хотел... вообще ко мне не приходите? — произнес он тем бледным, спокойным тоном, который обычно предшествует взрыву. Я вскочил от неожиданности. В тот же миг вошла Настасья и молча протянула Степану Трофимовичу записку, написанную карандашом. Он взглянул и передал ее мне. На бумажке рукой Варвары Петровны было всего два слова: "Сиди дома".

Степан Трофимович молча схватил кепку и трость и быстро вышел из комнаты; я машинально за ним. Вдруг в коридоре послышались голоса и торопливые шаги. Он остановился, как громом пораженный.

— Это Липутин, и мне конец! — прошептал он, хватая меня за руку.

В ту же секунду в комнату вошел Липутин.

IV

Почему ему "конец" от Липутина, я не знал, да и значения этому не придавал; списал все на нервы. Но испуг его был необычайным, и я решил внимательно наблюдать.

Уже по виду входящего Липутина было ясно, что на этот раз он имеет особое право войти, несмотря на все запреты. Он вел за собой незнакомого человека, явно приезжего. В ответ на растерянный взгляд остолбеневшего Степана Трофимовича он тут же громко воскликнул:

— Гостя привел, и какого! Осмелюсь нарушить уединение. Господин Кириллов, замечательный инженер-строитель. А главное, вашего сына знают, уважаемого Петра Степановича; очень хорошо знакомы; и поручение от него имеют. Только что прибыли.

— Насчет поручения вы прибавили, — резко заметил гость, — никакого поручения не было, а Верховенского я действительно знаю. Видел его в Белгородской области, дней десять назад.

Степан Трофимович машинально протянул руку и предложил гостю сесть; посмотрел на меня, посмотрел на Липутина и вдруг, словно опомнившись, поспешно сел сам, все еще держа в руке кепку и трость, не замечая этого.

— Ба, да вы сами собрались на выход! А мне говорили, что вы совсем захандрили от работы.

— Да, я нездоров, и вот хотел прогуляться, я... — Степан Трофимович запнулся, быстро бросил кепку и трость на диван и покраснел.

Я тем временем быстро рассматривал гостя. Это был молодой человек, лет двадцати семи, прилично одетый, стройный и худощавый брюнет, с бледным, землистым лицом и черными, тусклыми глазами. Он казался задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то нескладно, странно переставлял слова и путался, если приходилось строить длинную фразу. Липутин явно заметил сильный испуг Степана Трофимовича и был доволен. Он уселся на плетеный стул, который вытащил почти на середину комнаты, чтобы находиться на равном расстоянии между хозяином и гостем, расположившимися друг напротив друга на диванах. Его острые глаза с любопытством шарили по углам.

— Я... давно не видел Петрушу... Вы за границей познакомились? — пробормотал Степан Трофимович гостю.

— И здесь, и за границей.

— И здесь, и за границей.

— Алексей Нилыч только что из-за границы, после четырёх лет отсутствия, — подхватил Липутин. — Ездил повышать квалификацию по своей специальности, и теперь надеется получить место при строительстве нашего нового моста. Ждёт ответа. Он с Дроздовыми знаком, с Елизаветой Николаевной, через Петра Степановича.

Инженер сидел, словно съёжившись, и прислушивался с неловким нетерпением. Мне показалось, что он чем-то раздражён.

— Они и с Николаем Всеволодовичем знакомы.

— Знаете и Николая Всеволодовича? — осведомился Степан Трофимович.

— Знаю и его.

— Я... я очень давно не видел Петрушу, и... не считаю себя вправе называться отцом... именно так. Я... как вы его оставили?

— Да так и оставил... он сам приедет, — поспешил отмахнуться господин Кириллов. Решительно, он был чем-то раздражён.

— Приедет! Наконец-то я... видите ли, я слишком давно не видел Петрушу! — завяз на этой фразе Степан Трофимович. — Жду теперь моего бедного мальчика, перед которым... о, перед которым я так виноват! То есть я, собственно, хочу сказать, что, оставляя его тогда в Петербурге, я... одним словом, я считал его ничем. Мальчик, знаете, нервный, очень чувствительный и... боязливый. Ложась спать, читал молитвы и крестил подушку, чтобы ночью не умереть... я помню это. Наконец, чувства прекрасного никакого, то есть чего-нибудь высшего, основного, какого-нибудь зародыша будущей идеи... он походил на идиотика. Впрочем, я сам, кажется, запутался, извините, я... вы меня застали...

— Вы серьёзно, что он подушку крестил? — с каким-то особенным любопытством вдруг осведомился инженер.

— Да, крестил...

— Нет, я так; продолжайте.

Степан Трофимович вопросительно поглядел на Липутину.

— Я очень вам благодарен за ваше посещение, но, признаюсь, я сейчас... не в состоянии... Позвольте, однако, узнать, где вы остановились?

— На Богоявленской улице, в доме Филиппова.

— Ах, это там же, где Шатов живёт, — заметил я невольно.

— Именно, в том же самом доме, — воскликнул Липутин. — Только Шатов наверху, в мансарде, а они внизу поселились, у капитана Лебядкина. Они и Шатова знают, и жену Шатова знают. Очень близко с ней за границей общались.

— Как! Так неужели вы что-нибудь знаете об этом несчастном браке этого бедного друга и эту женщину? — воскликнул Степан Трофимович, вдруг увлечшись чувством. — Вас первого человека встречаю, лично знающего; и если только...

— Какой вздор! — отрезал инженер, весь вспыхнув. — Как вы, Липутин, прибавляете! Никак я не видел жену Шатова; раз только издали, а вовсе не близко... Шатова знаю. Зачем же вы придумываете разные вещи?

Он резко повернулся на диване, схватил свою кепку, потом опять отложил и, снова усевшись по-прежнему, с каким-то вызовом уставился своими чёрными вспыхнувшими глазами на Степана Трофимовича. Я никак не мог понять такой странной раздражительности.

— Извините меня, — внушительно заметил Степан Трофимович, — я понимаю, что это дело может быть деликатным...

— Никакого тут деликатного дела нет, и даже это стыдно, а я не вам кричал, что «вздор», а Липутину, зачем он прибавляет. Извините меня, если вы приняли на свой счёт. Я Шатова знаю, а жену его совсем не знаю... совсем не знаю!

— Да нет тут никакого деликатного дела! И стыдно даже об этом говорить. И я не вам кричал "вздор", а Липутину, зачем он придумывает. Извините, если вы на свой счет приняли. Я Шатова знаю, а жену его совсем не знаю... совсем!

— Я понял, понял. И если настаивал, то лишь потому, что очень люблю нашего бедного друга, *notre irascible ami*, и всегда интересовался... Человек слишком резко изменил свои прежние, может, и юношеские, но все же правильные взгляды. И теперь так кричит о *notre sainte Russie*, что я давно уже списываю этот перелом в его организме — иначе не хочу называть — на какое-нибудь сильное семейное потрясение, а именно на неудачную женитьбу. Я, который изучил мою бедную Россию как свои пять пальцев, а русскому народу отдал всю жизнь, могу вас заверить, что он русского народа не знает, и вдобавок...

— Я тоже совсем не знаю русского народа и... совсем нет времени изучать! — отрезал инженер и резко отвернулся на диване. Степан Трофимович осекся на полуслове.

— Они изучают, изучают, — подхватил Липутин, — они уже начали изучение и составляют любопытнейшую статью о причинах участившихся случаев суицида в России, и вообще о факторах, способствующих или сдерживающих распространение самоубийств в обществе. Дошли до удивительных результатов.

Инженер заметно занервничал.

— Вы не имеете права так говорить, — гневно пробормотал он. — Я не пишу никакой статьи. Не собираюсь заниматься глупостями. Я вас конфиденциально спросил, совершенно случайно. Это не статья вовсе; я не публикую, а вы не имеете права...

Липутин явно наслаждался ситуацией.

— Виноват-с, возможно, ошибся, назвав ваш литературный труд статьей. Они лишь собирают наблюдения, а до сути вопроса, или, так сказать, до нравственной его стороны, совсем не прикасаются. И даже саму нравственность отвергают, придерживаясь новейшего принципа всеобщего разрушения ради благих конечных целей. Они уже больше ста миллионов голов требуют для водворения здравого смысла в Европе, гораздо больше, чем на последнем конгрессе мира потребовали. В этом смысле Алексей Нилыч дальше всех пошел.

Инженер слушал с презрительной и бледной улыбкой. С полминуты все молчали.

— Это все глупости, Липутин, — произнес наконец господин Кириллов с некоторым достоинством. — Если я случайно сказал вам несколько пунктов, а вы подхватили, то это ваше дело. Но вы не имеете права, потому что я никогда никому ничего не говорю. Я презираю разговоры... Если есть убеждения, то для меня все ясно... А вы поступили глупо. Я не рассуждаю о том, что для меня решено. Я терпеть не могу рассуждать. Я никогда не хочу рассуждать...

— И, возможно, правильно делаете, — не удержался Степан Трофимович.

— Я извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь, — продолжал гость скороговоркой. — Я четыре года видел мало людей... Я мало разговаривал и старался избегать встреч, ради моих целей, до которых никому нет дела, четыре года. Липутин это заметил и смеется. Я понимаю и не обращаю внимания. Я не обидчив, а просто досаую на его фамильярность. А если я с вами

не делюсь мыслями, – заключил он неожиданно, обводя всех твердым взглядом, – то вовсе не потому, что боюсь доноса правительству. Это не так. Пожалуйста, не думайте глупостей в этом смысле...

На эти слова никто не ответил, только переглянулись. Даже Липутин забыл хихикать.

— Господа, мне очень жаль, — Степан Трофимович решительно поднялся с дивана, — но я чувствую себя неважно и расстроен. Извините.

— Ах, это чтобы уходить, — спохватился Кириллов, хватая свою кепку, — хорошо, что сказали, а то я забывчивый.

Он встал и с простодушным видом подошел к Степану Трофимовичу, протягивая руку.

— Жаль, что вам нездоровится, а я пришел.

— Желаю вам всяческих успехов, — ответил Степан Трофимович, доброжелательно и неторопливо пожимая его руку. — Понимаю, если вы, по вашим словам, так долго жили за границей, отстраняясь от людей ради своих целей, и забыли Россию, то, конечно, вы на нас, коренных россиян, невольно должны смотреть с удивлением, а мы на вас. *Mais cela passera*. Затрудняюсь только в одном: вы хотите строить наш мост, и в то же время заявляете, что стоите за принцип всеобщего разрушения. Не дадут вам строить наш мост!

— Как? Как это вы сказали... ах, черт! — воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение, и, мне показалось, очень ему идущее. Липутин потирал руки в восторге от удачного словца Степана Трофимовича. А я все дивился про себя: чего Степан Трофимович так испугался Липутина и почему вскричал "я пропал", услышав его.

V

Мы все стояли на пороге. Был тот миг, когда хозяева и гости обмениваются наскоро последними и самыми любезными словечками, а затем благополучно расходятся.

— Это все оттого они такие угрюмые сегодня, — ввернул вдруг Липутин, уже выходя из комнаты, так сказать, на лету, — оттого, что с капитаном Лебядкиным у них скандал вышел из-за сестрицы. Капитан Лебядкин ежедневно свою прекрасную сестрицу, с особенностями, ремнем воспитывает, настоящим таким, армейским, по утрам и вечерам. Так Алексей Нилыч в том же доме квартиру снял, чтобы не участвовать. Ну-с, до свидания.

— Сестру? С особенностями? Ремнем? — вскрикнул Степан Трофимович, словно его самого вдруг ударили ремнем. — Какую сестру? Какой Лебядкин?

Прежний испуг вернулся в одно мгновение.

— Лебядкин? А, это отставной капитан; прежде он только старшим лейтенантом себя называл...

— Э, какое мне дело до звания! Какую сестру? Боже мой... вы говорите: Лебядкин? Но ведь у нас был Лебядкин...

— Тот самый и есть, наш Лебядкин, вот, помните, у Виргинского?

— Но ведь тот с поддельными документами попался?

— А вот и вернулся, уже почти три недели, и при самых особенных обстоятельствах.

— Да ведь это мерзавец!

— А что, у нас и не может быть мерзавца? — осклабился вдруг Липутин, словно ощупывая своими вороватыми глазками Степана Трофимовича.

— Боже мой, да я не об этом... Хотя, если честно, с вами согласен насчет этого мерзавца, абсолютно. Но что дальше-то? К чему вы это всё? Вы же явно что-то хотите сказать!

— Да это всё ерунда... Ну, этот капитан, похоже, уехал тогда не из-за каких-то левых документов, а чтобы сестру свою найти. Она, вроде как, от него пряталась. А теперь вот привёз, и вся история. Чего вы так испугались, Степан Трофимович? Впрочем, я всё с его пьяных слов говорю, а трезвый он молчит об этом. Тип он нервный, такой... военно-эстетический, но вкус у него отвратительный. А сестра эта не только с приветом, но ещё и хромая. Говорят, её кто-то

соблазнил, и Лебядкин теперь с этого соблазнителя деньги тянет, типа за моральный ущерб. Ну, это если его пьяным бредням верить – по-моему, он просто хвастается. Да и суммы там смешные. А деньги у него точно есть, это факт. Ещё пару недель назад босой ходил, а сейчас, сам видел, пачки держит. У сестры припадки каждый день, визжит, а он её "в чувство приводит" ремнём. Говорит, женщину надо уважать. Не понимаю, как Шатов с ними уживается. Алексей Нилыч всего три дня у них пробыл, ещё с Питера знакомы, а теперь снимают флигель, чтобы от них отдохнуть.

– Это правда всё? – спросил Степан Трофимович у инженера.

– Ты слишком много болтаешь, Липутин, – пробурчал тот злобно.

– Тайны, секреты! Откуда у нас столько секретов взялось? – не сдержался Степан Трофимович.

Инженер нахмурился, покраснел, пожал плечами и собрался уйти.

– Алексей Нилыч даже ремень у него отобрал, сломал и в окно выбросил, и сильно с ним поругался, – добавил Липутин.

– Зачем ты болтаешь, Липутин, это глупо, зачем? – тут же обернулся к нему Алексей Нилыч.

– Зачем же скрывать, из скромности, благородные порывы своей души, то есть вашей души, я про себя не говорю.

– Как это глупо... и совсем не нужно... Лебядкин – дурак и ничтожество, бесполезный и... даже вредный. Зачем ты несёшь всякую чушь? Я ухожу.

– Ах, как жаль! – воскликнул Липутин с улыбкой. – А то я хотел вас, Степан Трофимович, ещё одним анекдотом развлечь. Даже специально пришёл, чтобы рассказать, хотя вы, наверное, уже слышали. Ну, в другой раз тогда, если Алексей Нилыч так спешит... До свидания. С Варварой Петровной смешная история вышла, она меня третьего дня вызвала, просто умора. До свидания.

Тут Степан Трофимович не выдержал, схватил его за плечи, развернул обратно в комнату и усадил на стул. Липутин даже испугался.

– Ну что там? – начал он, осторожно глядя на Степана Трофимовича со стула. – Вдруг меня вызывают и спрашивают "конфиденциально", что я думаю: Николай Всеволодович – псих или в своём уме? Разве это не странно?

– Вы с ума сошли! – пробормотал Степан Трофимович и вдруг взорвался: – Липутин, вы ведь специально пришли, чтобы сообщить какую-нибудь гадость и... ещё что-нибудь похуже!

В голове сразу всплыла его догадка: Липутин знает о нашем деле не просто больше нас, но и что-то такое, чего нам никогда не узнать.

— Помилуйте, Степан Трофимович! — пробормотал Липутин с деланным испугом. — Помилуйте...

— Молчите и начинайте! Господин Кириллов, прошу вас, вернитесь и побудьте здесь, прошу! Садитесь. А вы, Липутин, начинайте сразу, без всяких отговорок!

— Знал бы я, что это вас так шокирует, то и не начинал бы... А я-то думал, Варвара Петровна вам уже всё рассказала!

— Вы так не думали! Начинайте, вам говорят!

— Сделайте одолжение, присядьте, а то я буду сидеть, а вы тут в таком волнении передо мной... бегать. Неудобно как-то.

Степан Трофимович взял себя в руки и тяжело опустился в кресло. Инженер угрюмо смотрел в пол. Липутин с каким-то нездоровым наслаждением наблюдал за ними.

— Да что же начинать... совсем сбили с толку...

VI

— Представляете, дня три назад присылают ко мне человека: просят, мол, завтра в двенадцать часов к ним заехать. Я всё бросил и вчера ровно в полдень звоню в домофон. Меня

сразу в гостиную проводят; подождал минуту — вышли; усадили, сами напротив сели. Сижу и не верю своим глазам; вы же знаете, как она меня всегда презирала! И начинают сразу, без обиняков, в своей манере: «Вы помните, — говорит, — четыре года назад Николай Всеволодович, когда болел, совершил несколько странных поступков, так что весь город недоумевал, пока всё не объяснилось. Один из этих поступков касался лично вас. Николай Всеволодович тогда к вам заезжал после выздоровления, по моей просьбе. Мне известно, что он и раньше с вами несколько раз разговаривал. Скажите откровенно и прямо, как вы... (тут замялись) — как вы находили тогда Николая Всеволодовича... Как вы вообще на него смотрели... какое мнение о нем могли составить и... сейчас имеете?..»

Тут совсем замялись, даже помолчали целую минуту, и вдруг покраснели. Я испугался. И снова начинают, не то чтобы трогательно, это им не свойственно, а таким внушительным тоном:

«Я хочу, — говорит, — чтобы вы меня поняли правильно и без ошибок. Я позвала вас, потому что считаю вас проницательным и умным человеком, способным составить верное мнение (вот это комплимент!). Вы, конечно, понимаете, что с вами говорит мать... Николай Всеволодович пережил в жизни некоторые несчастья и потрясения. Всё это могло повлиять на его душевное состояние. Разумеется, я не говорю о сумасшествии, этого не может быть! (твердо и с гордостью произнесено). Но могло быть что-то странное, особенное, некий поворот мыслей, склонность к особому взгляду на вещи (это всё её слова, и я поразился, Степан Трофимович, как точно Варвара Петровна умеет выражать свои мысли. Умная дама!). По крайней мере, я сама заметила в нем некоторое постоянное беспокойство и тягу к чему-то необычному. Но я мать, а вы посторонний человек, значит, способны, благодаря своему уму, составить более объективное мнение. Умоляю вас (именно так и сказала: умоляю) сказать мне всю правду, без всяких увиливаний, и если вы дадите мне обещание никогда не забывать, что я говорила с вами конфиденциально, то можете рассчитывать на мою полную и постоянную готовность отблагодарить вас при любой возможности». Ну, как вам такое?

— Я хочу, чтобы вы меня поняли правильно и без ошибок, — начала она. — Я позвала вас, потому что считаю проницательным и умным человеком, способным к верным наблюдениям (вот комплименты!). Вы, конечно, понимаете, что с вами говорит мать... Николай Всеволодович пережил в жизни немало несчастий и потрясений. Всё это могло повлиять на его душевное состояние. Разумеется, я не говорю о психическом расстройстве, этого не может быть! (произнесла она твердо и с гордостью). Но могло возникнуть нечто странное, особенное, некий уклон в мыслях, склонность к особому взгляду на вещи (это её точные слова, и я поразился, Степан Трофимович, как точно Варвара Петровна умеет выражать свои мысли. Дама высокого ума!). По крайней мере, я сама заметила в нём постоянное беспокойство и стремление к каким-то особым увлечениям. Но я мать, а вы человек со стороны, значит, способны, при вашем уме, составить более независимое мнение. Умоляю вас (именно так и сказала: умоляю) сказать мне всю правду, без всяких увиливаний, и если вы дадите мне обещание никогда не забывать, что я говорила с вами конфиденциально, то можете рассчитывать на мою полную и постоянную готовность отблагодарить вас при любой возможности.

— Ну, как вам это? — закончил рассказчик.

— Вы... вы меня так ошеломили... — пролепетал Степан Трофимович, — что я вам не верю...

— Нет, вы только послушайте, — перебил его Липутин, словно не слышав, — какое же должно быть волнение и беспокойство, когда с таким вопросом обращаются с такой высоты к такому человеку, как я, да еще и просят хранить секрет. Это что же получается? Неужели они получили какие-то неожиданные известия о Николае Всеволодовиче?

— Я не знаю... никаких известий... я его несколько дней не видел, но... но замечу вам... — бормотал Степан Трофимович, явно с трудом собираясь с мыслями, — но замечу вам, Липутин, что если вам это сказали конфиденциально, а вы теперь при всех...

— Совершенно конфиденциально! Да чтоб мне провалиться, если я... А раз уж здесь... так что же? Разве мы чужие, даже если взять Алексея Нилыча?

— Я не разделяю вашу точку зрения; уверен, что мы втроем сохраним секрет, но вас, четвертого, я боюсь и ни в чем не верю!

— Да что вы такое говорите? Да я больше всех заинтересован, ведь мне вечная благодарность обещана! А вот я как раз хотел, в связи с этим, указать на один чрезвычайно странный случай, скорее психологический, чем просто странный. Вчера вечером, под впечатлением от разговора у Варвары Петровны (сами можете представить, какое впечатление он на меня произвел), я обратился к Алексею Нилычу с вопросом издали: вы, говорю, и за границей, и в Петербурге знали Николая Всеволодовича; как вы, говорю, оцениваете его ум и способности? А он мне отвечает так лаконично, в своей манере, что, дескать, человек тонкого ума и со здравым суждением. А не замечали ли вы, говорю, за эти годы некоторого, говорю, как бы отклонения в идеях, или особого поворота мыслей, или некоторого, говорю, как бы, так сказать, помешательства? Одним словом, повторяю вопрос самой Варвары Петровны. Представьте себе: Алексей Нилыч вдруг задумался и сморщился вот точно так же, как сейчас: «Да, говорит, мне иногда казалось нечто странное». Заметьте при этом, что если уж Алексею Нилычу могло показаться нечто странное, то что же на самом деле может оказаться, а?

— Да я больше всех заинтересован, мне же обещали благодарность! И вот, кстати, по поводу... Хочу рассказать об одном странном случае, скорее психологическом. Вчера вечером, под впечатлением от разговора у Варвары Петровны (представляете, как меня это зацепило), я спросил у Алексея Нилыча: вы, говорю, и за границей, и в Питере знали Николая Всеволодовича, каким вы его находите в плане ума и способностей? А он так лаконично, в своей манере, отвечает: мол, умный человек, с хорошим суждением. А не замечали ли вы, говорю, с годами, какого-то отклонения в идеях, особого поворота мыслей, ну, или, так сказать, помешательства? Короче, повторил вопрос Варвары Петровны. И представляете: Алексей Нилыч вдруг задумался и сморщился, вот как сейчас: "Да, говорит, мне иногда казалось что-то странное". Заметьте, если уж Алексею Нилычу показалось странное, то что же там на самом деле?

— Это правда? — спросил Степан Трофимович, обращаясь к Алексею Нилычу.

— Я бы не хотел об этом говорить, — ответил Алексей Нилыч, резко поднимая голову и сверкая глазами. — Я считаю, что у вас нет права, Липутин, говорить обо мне. Я не высказывал своего полного мнения. Я хоть и знаком был в Питере, но это давно, а сейчас хоть и встретил Ставрогина, но мало его знаю. Прошу вас меня не трогать, и... все это похоже на сплетни.

Липутин развел руками, изображая невинность.

— Сплетник! Да уж не из СБУ ли? Хорошо вам, Алексей Нилыч, критиковать, когда вы во всем дистанцируетесь. А вот вы не поверите, Степан Трофимович, даже капитан Лебядкин, ну, кажется, глуп как... стыдно сказать, как глуп; есть такое русское сравнение, означающее степень; и он считает себя обиженным Николаем Всеволодовичем, хотя и восхищается его остроумием: "Поражен, говорит, этим человеком: премудрый змий" (его слова). А я ему (все под тем же вчерашним впечатлением и после разговора с Алексеем Нилычем): а что, говорю, капитан, как вы думаете, помешан ваш премудрый змий или нет? Так, верите ли, будто я его кнутом ударил, без спроса; просто подскочил с места: "Да, говорит... да, говорит, только это не может повлиять..." На что повлиять — не договорил. И так горестно задумался, что и хмель прошел. Мы в "Донбасс Палас" сидели. И только через полчаса вдруг ударил кулаком по столу: "Да, говорит, пожалуй, и помешан, только это не может повлиять..." — и опять не договорил, на что повлиять. Я вам, конечно, только суть разговора передаю, но мысль понятна: кого ни

спроси, всем одна мысль приходит, хотя бы раньше и не думали: "Да, говорят, помешан; очень умен, но, может быть, и помешан".

Степан Трофимович задумался, пытаюсь понять.

— А почему Лебядкин знает?

— А об этом спросите у Алексея Нилыча, который меня тут шпионом обозвал. Я шпион и не знаю, а Алексей Нилыч знает всю подноготную и молчит.

— Я ничего толком не знаю, — огрызнулся инженер, — вы этого Лебядкина спаиваете, чтобы что-то выведать. И меня сюда притащили, чтобы я вам рассказал. Значит, вы сами шпионите!

— Я его ещё не спаивал, да и не стоит он того, со всеми его секретами. Мне они точно не нужны, не знаю, как вам. Наоборот, это он деньгами сорит, а ещё две недели назад у меня пятнадцать рублей занимал. И это он меня коньяком угощает, а не я его. Но вы мне идею подкинули. Если понадобится, я его напою, чтобы всё разузнать. Все ваши тайны, — злобно процедил Липутин.

Степан Трофимович растерянно смотрел на спорщиков. Оба сами себя выдавали, да ещё и не стеснялись. Мне показалось, что Липутин привёл Алексея Нилыча, чтобы через третье лицо вытянуть из него нужную информацию. Любимый его приём.

— Алексей Нилыч слишком хорошо знает Николая Всеволодовича, — раздражённо продолжал он, — но скрывает это. А что касается капитана Лебядкина, то он с ним раньше всех нас познакомился, в Питере, лет пять-шесть назад. В тот малоизвестный период жизни Николая Всеволодовича, когда он ещё и не думал нас своим приездом осчастливить. Наш принц, надо сказать, довольно странный круг знакомств в Питере себе завёл. Тогда, видимо, и с Алексеем Нилычем познакомился.

— Осторожнее, Липутин, предупреждаю, Николай Всеволодович скоро сам сюда придет, и он умеет за себя постоять.

— А меня-то за что? Я первый кричу, что он умнейший человек, и Варвару Петровну вчера в этом убедил. "Вот за характер его, говорю, не ручаюсь". Лебядкин тоже вчера подтвердил: "От характера его, говорит, пострадал". Эх, Степан Трофимович, вам легко кричать про сплетни и шпионаж, особенно когда вы сами у меня всё выспросили, да ещё с таким любопытством. А Варвара Петровна вчера прямо в точку попала: "Вы, говорит, лично заинтересованы, потому к вам и обращаюсь". Да как же иначе! Какие уж тут цели, когда я личную обиду от его превосходительства при всех проглотил! Кажется, имею право не только сплетничать. Сегодня он тебе руку жмёт, а завтра ни с того ни с сего, за твой же хлеб-соль, пощёчину отвесит при всём честном народе, если ему так захочется. От жира бесятся! А главное у них – женщины: мотыльки и петушки! Хозяйева жизни с крылышками, как у древних амулов, Печорины-сердцееды! Вам хорошо, Степан Трофимович, холостяку, так говорить и меня сплетником называть. А вот женились бы, вы же ещё такой молодец, на хорошенькой да молоденькой, так, пожалуй, от нашего принца двери на замок закроете и баррикады в квартире построите! Да чего уж там: вот только если бы эта мадемуазель Лебядкина, которую лупят, не была сумасшедшей и кривоногой, я бы подумал, что она и есть жертва страстей нашего генерала и что от этого капитан Лебядкин пострадал "в своём фамильном достоинстве", как он сам выражается. Только разве её внешность их изящному вкусу противоречит, да для них это не проблема. Всякая ягодка сгодится, лишь бы под настроение попалась. Вы тут про сплетни, а разве я это кричу, когда весь город гудит, а я только слушаю да поддакиваю; поддакивать-то не запрещено.

— Город гудит? О чём же гудит город?

— То есть это капитан Лебядкин орёт в пьяном виде на весь город, ну, а это разве не то же самое, что вся площадь кричит? Чем я виноват? Я интересуюсь только между друзьями, потому что я здесь себя среди друзей чувствую, — он невинно обвёл нас глазами. — Тут такое дело: выходит, его превосходительство выслали ещё из Швейцарии с одной благородной девушкой,

скромной сиротой, которую я имею честь знать, триста рублей для передачи капитану Лебядкину. А Лебядкин вскоре получил точную информацию, от кого не скажу, но тоже от благородного человека, а значит, достоверную, что выслана была тысяча рублей! Стало быть, кричит Лебядкин, девица семьсот рублей у меня украла, и требует чуть ли не через полицию, по крайней мере, угрожает и на весь город орёт...

— Это подло, подло с вашей стороны! — вскочил вдруг инженер со стула.

— Да ведь вы и есть тот самый благородный человек, который подтвердил Лебядкину от имени Николая Всеволодовича, что выслана была тысяча, а не триста рублей. Мне сам капитан в пьяном виде рассказал.

— Это... это какое-то досадное недоразумение. Кто-то ошибся, и вышло... Это ерунда, а вы мерзки!

— Да и я хочу верить, что ерунда, и с сожалением слушаю, потому что, как ни крути, наиболее благороднейшая девушка замешана, во-первых, в семистах тысячах рублей, а во-вторых, в очевидных отношениях с Николаем Всеволодовичем. Да что ему стоит девушку опорочить или чужую жену обесчестить, как тогда со мной случай вышел? Подвернется им полный великодушный человек, они и заставят его прикрыть своим честным именем чужие грехи. Так точно и я ведь вынес... я про себя говорю.

— Осторожнее, Липутин! — вскочил с кресла Степан Трофимович и побледнел.

— Не верьте, не верьте! Кто-то ошибся, а Лебядкин пьян... — восклицал инженер в невыразимом волнении. — Все объяснится, а я больше не могу... и считаю это низостью... и довольно, довольно!

Он выбежал из комнаты.

— Так что же вы? Да ведь и я с вами! — всполошился Липутин, вскочил и побежал вслед за Алексеем Нилычем.

VII

Степан Трофимович постоял с минуту в раздумье, как-то рассеянно посмотрел на меня, взял свою кепку, трость и тихо вышел из комнаты. Я опять за ним, как и прежде. Выходя из подъезда, он, заметив, что я провожаю его, сказал:

— Ах да, вы можете быть свидетелем... de l'accident. Vous m'accompagnez, n'est-ce pas?

— Степан Трофимович, неужели вы опять туда? Подумайте, что может выйти?

С жалкой и потерянной улыбкой — улыбкой стыда и совершенного отчаяния, и в то же время какого-то странного восторга, прошептал он мне, на миг останавливаясь:

— Не могу же я жениться на «чужих грехах»!

Я только и ждал этого слова. Наконец-то это заветное, скрываемое от меня слово было произнесено после целой недели виляний и ужимок. Я решительно вышел из себя:

— И такая грязная, такая... низкая мысль могла появиться у вас, у Степана Верховенского, в вашем светлом уме, в вашем добром сердце и... еще до Липутина!

Он посмотрел на меня, не ответил и пошел той же дорогой. Я не хотел отставать. Я хотел свидетельствовать перед Варварой Петровной. Я бы простил ему, если б он поверил только Липутину, по бабьей слабости своей, но теперь уже ясно было, что он сам все выдумал еще гораздо прежде Липутина, а Липутин только теперь подтвердил его подозрения и подлил масла в огонь. Он не задумался заподозрить девушку с самого первого дня; еще не имея никаких оснований, даже липутинских. Деспотические действия Варвары Петровны он объяснил себе только отчаянным желанием ее поскорее замять свадьбой с почтенным человеком дворянские грехи ее бесценного Nicolas! Мне непременно хотелось, чтоб он был наказан за это.

— О! Боже, всемогущий и милосердный! О, кто меня успокоит! — воскликнул он, пройдя еще шагов сто и вдруг остановившись.

— Пойдемте сейчас домой, и я вам все объясню! — вскричал я, силой поворачивая его к дому.

— Это он! Степан Трофимович, это вы? Вы? — раздался свежий, резвый, юный голос, как какая-то музыка рядом с нами.

Мы ничего не видели, а рядом с нами вдруг появилась девушка на электросамокате, Лизавета Николаевна, со своим обычным сопровождающим. Она остановила самокат.

— Идите, идите же скорее! — звала она громко и весело. — Я двенадцать лет не видела его и узнала, а он... Неужели не узнаете меня?

Степан Трофимович схватил ее руку, протянутую к нему, и благоговейно поцеловал. Он смотрел на нее с мольбой и не мог вымолвить ни слова.

— Узнал, и как я рада! Маврикий Николаевич тоже в восторге от встречи! Почему же вы не приходили все эти две недели? Тетушка уверяла, что вы болеете и вас нельзя беспокоить, но я-то знаю, она придумывает. Я, конечно, злилась и ворчала, но очень хотела, чтобы вы сами пришли первым, поэтому и не писала. Боже, да он совсем не изменился! — разглядывала она его, наклоняясь с седла. — Совсем! Ах, нет, вот морщинки, много морщинок вокруг глаз и на щеках, и седина есть, но глаза те же! А я изменилась? Изменилась? Ну что же вы молчите?

Мне вспомнился рассказ о том, что она тяжело переживала отъезд в Петербург в одиннадцать лет; будто бы плакала и звала Степана Трофимовича.

— Вы... я... — лепетал он, голос дрожал от радости. — Я только что подумал: «Кто меня успокоит?» — и услышал ваш голос... Это чудо, *et je commence à croire*.

— *En Dieu? En Dieu, qui est là-haut et qui est si grand et si bon?* Видите, я все ваши лекции помню наизусть. Маврикий Николаевич, какую он мне веру преподавал *en Dieu, qui est si grand et si bon!* А помните ваши рассказы о том, как Колумб открыл Америку, и все закричали: «Земля, земля!» Няня Алена Фроловна говорила, что я потом ночью бредила и кричала во сне: «Земля, земля!» А помните, как вы мне историю Гамлета рассказывали? А помните, как вы описывали, как люди уезжают из Европы в Америку в поисках лучшей жизни? И все-то неправда, я потом узнала, как все на самом деле, но как он мне хорошо врал тогда, Маврикий Николаевич, почти лучше правды! Чего вы так смотрите на Маврикия Николаевича? Это самый лучший и верный человек на свете, и вы его должны полюбить, как меня! *Il fait tout ce que je veux*. Но, голубчик Степан Трофимович, значит, вы опять несчастны, раз посреди улицы кричите о том, кто вас успокоит? Несчастливы, ведь так? Так?

— Теперь счастлив...

— Тетушка обижает? — продолжала она, не слушая. — Все та же злая, несправедливая и вечно нам бесценная тетушка! А помните, как вы обнимали меня в саду, а я вас утешала и плакала? Да не бойтесь же Маврикия Николаевича, он про вас все знает, давно, вы можете плакать на его плече сколько угодно, и он будет стоять! Приподнимите шляпу, снимите совсем на минутку, наклоните голову, станьте на цыпочки, я вас сейчас поцелую в лоб, как в последний раз, когда мы прощались. Видите, та девушка из окна на нас смотрит... Ну, ближе, ближе. Боже, как он поседел!

И она, наклонившись в седле, поцеловала его в лоб.

— Ну, теперь к вам домой! Я знаю, где вы живете. Я сейчас, сию минуту буду у вас. Я вам, упряму, сделаю первый визит и потом на целый день вас к себе затащу. Идите же, готовьтесь встречать меня.

И она ускакала со своим кавалером. Мы вернулись. Степан Трофимович сел на диван и заплакал.

— *Dieu! Dieu!* — восклицал он. — *Enfin une minute de bonheur!*

Не прошло и десяти минут, как она, как и обещала, появилась в сопровождении своего Маврикия Николаевича.

— *Vous et le bonheur, vous arrivez en même temps!* — поднялся он ей навстречу.

— Вот, вам букет. Только что заехала к мадам Шевалье, у нее круглый год для именинниц букеты найдутся. А вот и Маврикий Николаевич, прошу знакомиться. Я хотела пирог вместо цветов, но Маврикий Николаевич сказал, это не в нашем духе.

Этот Маврикий Николаевич был капитаном артиллерии, лет тридцати трех, высокий, видный мужчина, с безупречной выправкой. Лицо у него было внушительное, даже строгое на первый взгляд, хотя доброта его была очевидна чуть ли не с первого знакомства. Впрочем, он был молчалив, казался очень спокойным и сам в друзья не набивался. Потом многие говорили, что он не очень умный; это было не совсем справедливо.

Я не буду описывать красоту Елизаветы Николаевны. Весь город только о ней и говорил, хотя некоторые дамы и девушки с возмущением не соглашались. Были и такие, кто уже невзлюбил Елизавету Николаевну, во-первых, за гордость: Дроздовы почти не наносили визитов, что обижало, хотя виной тому было болезненное состояние Прасковьи Ивановны. Во-вторых, за то, что она родственница жены губернатора; в-третьих, за то, что она каждый день ездит верхом. У нас до сих пор не было амазонок; естественно, что появление Елизаветы Николаевны, разъезжающей верхом и еще не нанесшей визитов, должно было оскорблять общество. Впрочем, все уже знали, что она ездит верхом по совету врачей, и при этом язвительно говорили о ее болезненности. Она и правда была нездорова. Что сразу бросалось в глаза – это ее болезненное, нервное, постоянное беспокойство. Увы! Бедняжка очень страдала, и впоследствии все стало ясно. Теперь, вспоминая прошлое, я уже не скажу, что она была красавицей, какой казалась мне тогда. Может быть, она даже и совсем не была хороша собой. Высокая, тонкая, но гибкая и сильная, она даже поражала неправильностью черт лица. Глаза у нее были посажены как-то по-кальмыцки, немного раскосо; бледная, скулистая, смуглая и худая лицом; но было что-то в этом лице, что покоряло и притягивало! Какая-то сила чувствовалась в горящем взгляде ее темных глаз; она являлась «как победительница и чтобы победить». Она казалась гордой, а иногда даже дерзкой; не знаю, удавалось ли ей быть доброй; но я знаю, что она ужасно хотела и мучилась, пытаясь заставить себя быть хоть немного добрее. В этой натуре, конечно, было много прекрасных стремлений и самых справедливых порывов; но все в ней словно вечно искало себя и не находило, все было в хаосе, в волнении, в беспокойстве. Может быть, она предъявляла к себе слишком строгие требования, никогда не находя в себе сил им соответствовать.

Она села на диван и оглядела комнату.

— Почему мне в такие моменты всегда тоскливо становится, объясните, умный человек? всю жизнь мечтала, как обрадуюсь, когда вас увижу, всё припомню, а сейчас будто и не рада, хотя люблю... Ой, боже, у него мой портрет висит! Дайте сюда, я его помню!

Замечательный миниатюрный акварельный портрет двенадцатилетней Лизы Дроздовы прислали Степану Трофимовичу из Питера лет девять назад. С тех пор он висел у него на стене.

— Неужели я была таким милым ребенком? Это правда мое лицо?

Она встала и, держа портрет, посмотрелась в зеркало.

— Заберите скорее! — воскликнула она, отдавая портрет. — Не вешайте его больше, потом, не хочу на него смотреть. — Она снова села на диван. — Одна жизнь прошла, началась другая, потом еще одна — и так без конца. Все концы как будто ножницами обрезают. Видите, какие я старые вещи говорю, а ведь сколько правды!

Она усмехнулась, глядя на меня. Она уже несколько раз на меня поглядывала, но Степан Трофимович в своем волнении забыл, что обещал меня представить.

— А зачем мой портрет висит у вас под кинжалами? И зачем у вас столько кинжалов и сабель?

У него действительно висели на стене, не знаю зачем, два ятагана крест-накрест, а над ними настоящая казачья шашка. Спрашивая, она так прямо на меня посмотрела, что я хотел что-то ответить, но осекся. Степан Трофимович наконец догадался и меня представил.

— Знаю, знаю, — сказала она, — очень рада. Мама тоже о вас много слышала. Познакомьтесь и с Маврикием Николаевичем, это прекрасный человек. Я уже составила о вас забавное мнение: вы же доверенное лицо Степана Трофимовича?

Я покраснел.

— Ой, простите, пожалуйста, я не то хотела сказать; совсем не забавное, а... (Она покраснела и смутилась.) Впрочем, чего стесняться, если вы прекрасный человек? Ну, пора нам, Маврикий Николаевич! Степан Трофимович, через полчаса ждем вас у нас. Боже, сколько нам нужно обсудить! Теперь я ваш доверенный человек, и обо всем, обо всем, понимаете?

Степан Трофимович тут же испугался.

— О, Маврикий Николаевич всё знает, его не стесняйтесь!

— Что же знает?

— Да что вы! — воскликнула она в изумлении. — Ба, да ведь они и правда что-то скрывают! Я не хотела верить. Дашу тоже скрывают. Тетя сегодня не пустила меня к Даше, говорит, у нее голова болит.

— Но... но как вы узнали?

— Ах, боже, да так же, как и все. Не велика премудрость!

— Разве все?..

— Ну да, конечно! Мама, правда, сначала узнала через Алену Фроловну, мою няню; ей ваша Настасья прибежала рассказать. Вы ведь говорили Настасье? Она говорит, что вы ей сами говорили.

— Я... я говорил однажды... — пролепетал Степан Трофимович, весь покраснев, — но... я лишь намекнул... я был так взволнован и болен, и к тому же...

Она захохотала.

— А доверенного лица под рукой не оказалось, а Настасья подвернулась — ну и ладно! А у той целый город кумушек! Ну да полноте, это неважно; пусть знают, даже лучше. Скорее же приходите, мы обедаем рано... Да, забыла, — она снова села, — слушайте, что такое Шатов?

— Шатов? Это брат Дарьи Павловны...

— Знаю, что брат, какой вы! — перебила она нетерпеливо. — Я хочу знать, что он за человек?

— Это местный мечтатель. Самый лучший и самый вспыльчивый человек на свете...

— Да он тут у нас местный чудак, из этих, кто вечно в облаках летает. Но мужик, говорят, толковый, хоть и взрывной, — сказала дама.

— Я слышала, что он какой-то... особенный. Но не суть. Говорят, он три языка знает, включая английский, и вроде как может тексты писать. Мне как раз такой человек нужен, помощник. Срочно. Возьмется он или нет? Мне его рекомендовали...

— О, обязательно возьмется, **et vous ferez un bienfait**... — добавила она с французским прононсом.

— Да не ради **bienfait**, мне самой помощь нужна.

— Я Шатова неплохо знаю, — вмешался я. — Если поручите, я ему передам, прямо сейчас схожу.

— Отлично! Передайте, чтобы завтра к двенадцати пришел. Чудесно! Спасибо вам. Маврикий Николаевич, вы готовы?

И они уехали. Я, конечно, сразу же рванул к Шатову.

— **Mon ami!** — догнал меня на крыльце Степан Трофимович. — Обязательно зайдите ко мне часов в десять или одиннадцать, когда я вернусь. О, я перед вами и... перед всеми, перед всеми виноват.

VIII

Шатова дома не оказалось. Забежал через пару часов — снова нет. Наконец, около восьми вечера, пошел к нему, чтобы или застать, или записку оставить. Опять никого. Квар-

тира заперта, а он один живет, без помощников по хозяйству. Думаю, не спуститься ли вниз, к этому Лебядкину, спросить про Шатова. Но там тоже тишина, дверь закрыта, как будто и нет никого. С любопытством прошел мимо двери Лебядкина, вспоминая недавние рассказы. В итоге решил зайти завтра утром. Да и на записку, честно говоря, не очень надеялся. Шатов мог и проигнорировать, он такой упрямый, себе на уме. Уже выходя со двора, ругая неудачу, вдруг столкнулся с Кирилловым. Он как раз входил в дом и сразу меня узнал. Раз сам спросил, я ему вкратце все и рассказал, про поручение и записку.

— Пойдемте, — сказал он, — я все устрою.

Я вспомнил, что он, по словам Липутина, снял небольшой флигель во дворе. В этом флигеле, довольно просторном для одного, с ним жила какая-то глухая старуха, которая ему помогала по хозяйству. Хозяин дома держал кафе в другом своем доме, на другой улице, а эта старуха, кажется, его родственница, присматривала за старым домом. Комнаты во флигеле были довольно чистые, но обои старые. В той комнате, куда мы вошли, мебель была сборная, разная и какая-то нескладная: два стола для карт, комод из дешевой древесины, большой стол из кухни, стулья и диван с жесткими кожаными подушками. В углу стояла старинная икона, перед которой старуха еще до нас зажгла лампадку, а на стенах висели два больших, потемневших портрета в рамках: один — покойного президента, еще времен начала нулевых, другой — какого-то архиерея.

Кириллов, войдя, зажег свечу и достал из своего чемодана, стоявшего в углу и еще не разобранного, конверт, сургуч и печатку.

— Запечатайте вашу записку и напишите адрес на конверте.

Я хотел было возразить, что это лишнее, но он настоял. Написав адрес, я взял кепку.

— А я думал, вы чай попьете, — сказал он. — Я чай купил. Хотите?

— А я думал, вы чайку? — сказал он. — Я купил. Хотите?

Я не отказался. Хозяйка быстро принесла чай. Огромный термос с кипятком, маленький заварочный чайник с крепкой заваркой, две большие керамические кружки с грубым рисунком, бублик и глубокую тарелку колотого сахара.

— Я чай люблю, — сказал он. — Ночью особенно. Много пью, хожу и пью, до самого рассвета. За границей с этим неудобно.

— Вы ложитесь на рассвете?

— Всегда. Давно уже. Я мало ем, все больше чай. Кузнецов хитрый, но нетерпеливый.

Меня удивило, что он захотел поговорить. Я решил воспользоваться моментом.

— Вчера вышли какие-то неприятные недоразумения, — заметил я. Он нахмурился.

— Это глупости. Все это ерунда. Тут все ерунда, потому что Лебедин пьян. Я Кузнецову не говорил ничего, а только объяснил, что это все пустяки. А он все переврал. У Кузнецова богатая фантазия, он из мухи слона раздул. Вчера я ему верил.

— А сегодня мне? — усмехнулся я.

— Да вы уже все знаете. Кузнецов или слаб, или нетерпелив, или вредный, или... завидует.

Последнее слово меня поразило.

— Впрочем, вы столько категорий перечислили, неудивительно, если под какую-нибудь да подойдет.

— Или под все сразу.

— Да, это правда. Кузнецов — это хаос! Кстати, он вчера врал, что вы какое-то сочинение пишете?

— Почему же врал? — нахмурился он, уставившись в пол.

Я извинился и стал уверять, что ничего не выпытываю. Он покраснел.

— Он правду говорил. Я пишу. Но это неважно.

Минуту помолчали. Он вдруг улыбнулся своей детской улыбкой.

– Это он про головы сам выдумал, из книги. Он сам мне сначала говорил, и понимает плохо. А я только ищу причины, почему люди не решаются покончить с собой. Вот и все. И это неважно.

– Как не решаются? Разве мало самоубийств?

– Очень мало.

– Неужели вы так считаете?

Он не ответил, встал и в задумчивости начал ходить взад и вперед.

– Что же удерживает людей, по-вашему, от самоубийства? – спросил я.

Он рассеянно посмотрел на меня, как бы вспоминая, о чем мы говорили.

– Я... я еще мало знаю... Два предрассудка удерживают, две вещи. Только две. Одна очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая.

– Какая же маленькая?

– Боль.

– Боль? Неужели это так важно... в этом случае?

– Самое первое. Есть два типа: те, кто убивают себя или от большой грусти, или от злости, или сумасшедшие, или там все равно... Те внезапно. Они мало о боли думают, а просто вдруг. А те, кто с рассудком, – те много думают.

– Да разве есть такие, кто с рассудком?

– Очень много. Если бы предрассудка не было, было бы больше. Очень много. Все.

– Ну уж и все?

Он промолчал.

– Да разве нет способов умереть без боли?

– Представьте, – остановился он передо мной, – представьте камень размером с большой дом. Он висит над вами. Если он упадет на вас, на голову, вам будет больно?

– Камень с дом? Конечно, страшно.

– Я не про страх. Будет больно?

– Камень с гору, миллион тонн? Разумеется, ничего не больно.

– А встаньте под ним, и пока он висит, вы будете очень бояться, что будет больно. Любой ученый, любой врач, все будут очень бояться. Все будут знать, что не больно, и все будут очень бояться, что будет больно.

– Ну, а вторая причина, большая?

– Тот свет.

– То есть наказание?

– Это неважно. Тот свет. Только тот свет.

– Разве нет атеистов, которые совсем не верят в тот свет?

Он опять промолчал.

– Вы, может быть, по себе судите?

– Нельзя судить всех по себе, – проговорил он, слегка покраснев. – Настоящая свобода наступит тогда, когда станет все равно, жить или не жить. Вот в чем цель.

– Цель? Да тогда, может, никто и не захочет жить?

– Никто, – произнес он решительно.

– Человек смерти боится, потому что жизнь любит, так я понимаю, – заметил я, – и так природа устроила.

– Это подлю, и в этом весь обман! – глаза его засверкали. – Жизнь – это боль, жизнь – это страх, и человек несчастен. Сейчас все – боль и страх. Сейчас человек любит жизнь, потому что любит боль и страх. И так сделали. Жизнь теперь дается за боль и страх, и в этом весь обман. Сейчас человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот и будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам станет богом. А тот бог – не будет.

– Стало быть, тот бог все-таки есть, по-вашему?

– Его нет, но он есть. В камне боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог – это боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет богом. Тогда – новая жизнь, тогда – новый человек, все новое... Тогда историю будут делить на две части: от обезьяны до уничтожения бога и от уничтожения бога до...

– До обезьяны?

– ...До перемены земли и человека физически. Человек станет богом и изменится физически. И мир изменится, и дела изменятся, и мысли, и все чувства. Как вы думаете, изменится тогда человек физически?

– Если станет все равно, жить или не жить, то все убьют себя, и вот в чем, может быть, и будет перемена.

– Это все равно. Обман убьют. Всякий, кто хочет главной свободы, должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы; тут все, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот – бог. Теперь всякий может сделать, что бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал.

– Самоубийц миллионы были.

– Но все не затем, все со страхом и не для того. Не для того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас богом станет.

– Не успеет, может быть, – заметил я.

– Это все равно, – ответил он тихо, со спокойной гордостью, чуть ли не с презрением. – Мне жаль, что вы как будто смеетесь, – прибавил он через полминуты.

– А мне странно, что вы только что были так раздражительны, а теперь так спокойны, хотя и горячо говорите.

– Только что? Только что было смешно, – ответил он с улыбкой, – я не люблю браниться и никогда не смеюсь, – прибавил он грустно.

– Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем. – Я встал и взял кепку.

– Вы думаете? – улыбнулся он с некоторым удивлением. – Почему же? Нет, я... я не знаю, – смешался он вдруг, – не знаю, как у других, и я так чувствую, что не могу, как все. Все думают и потом сразу о другом думают. Я не могу о другом, я всю жизнь об одном. Меня бог всю жизнь мучил, – заключил он вдруг с удивительной экспансивностью.

– А скажите, если позволите, почему вы не совсем правильно по-русски говорите? Неужели за границей за пять лет разучились?

– Разве я неправильно? Не знаю. Нет, не потому, что за границей. Я так всю жизнь говорил... мне все равно.

– Еще вопрос более деликатный: я совершенно вам верю, что вы не склонны встречаться с людьми и мало с людьми говорите. Почему вы со мной теперь разговорились?

– С вами? Вы только что хорошо сидели и вы... впрочем, все равно... вы на моего брата очень похожи, очень, чрезвычайно, – проговорил он, покраснев, – он семь лет назад умер; старший, очень, очень похожи.

– Должно быть, он оказал большое влияние на ваш образ мыслей.

— Должно быть, он сильно повлиял на твои взгляды.

— Да нет, он мало говорил... вообще ничего не говорил. Я твою записку передам.

Он проводил меня с фонариком до ворот, чтобы закрыть их за мной. "Явно не в себе", – подумал я. У ворот меня ждала новая встреча.

IX

Едва я перешагнул высокий порог калитки, как чья-то сильная рука схватила меня за грудки.

— Кто такой? – взревел чей-то голос. – Свой или чужой? Отвечай!

— Да свой, свой! – запищал рядом голосок Липутина. – Это господин Г-в, молодой человек с хорошим образованием и связями в высшем обществе.

— Люблю, когда с обществом... кла-сси-чес... значит, о-бра-зо-ва-ннейший... Капитан в отставке Игнат Лебядкин, к услугам мира и друзей... если верны, если верны, мерзавцы!

Капитан Лебядкин, ростом чуть выше полутора метров, толстый, мясистый, кудрявый, красный и сильно пьяный, еле стоял передо мной, с трудом выговаривая слова. Я, впрочем, видел его и раньше издавека.

— А, и этот! – снова взревел он, заметив Кириллова, который все еще стоял с фонариком. Он замахнулся кулаком, но тут же опустил его.

— Прощаю за ученость! Игнат Лебядкин – о-бра-зо-ва-ннейший...

Любви горящей граната

Взорвалась в груди Игната.

И вновь заплакал горькой мукой

По Мариуполю безрукий.

— Хоть в Мариуполе не был и даже не безрукий, но каковы рифмы! – полез он ко мне со своей пьяной рожей.

— Им некогда, некогда, они домой идут, – уговаривал Липутин. – Они завтра Елизавете Николаевне все расскажут.

— Елизавете!.. – завопил он снова. – Стой-не-уйди! Вариант:

И порхает Z-звезда на коне

В хороводе других амазонок;

Улыбается с лошади мне

Ари-сто-кратический ребенок.

«Z-звезде-амазонке».

— Да это же гимн! Это гимн, если ты не осел! Бездельники не понимают! Стой! – вцепился он в мое пальто, хотя я изо всех сил рвался к калитке. – Передай, что я рыцарь чести, а Дашка... Дашку я двумя пальцами... крепостная раба и не смеет...

Тут он упал, потому что я с силой вырвался у него из рук и побежал по улице. Липутин увязался за мной.

— Его Алексей Нилыч поднимет. Знаете, что я сейчас от него узнал? – болтал он на ходу. – Стишки-то слышали? Ну, вот он эти самые стихи к «Z-звезде-амазонке» запечатал и завтра отправляет Елизавете Николаевне со своей полной подписью. Каков!

— Бьюсь об заклад, что вы его сами подговорили.

— Проиграете! – захохотал Липутин. – Влюблен, влюблен как кот, а знаете, что началось ведь с ненависти. Он до того сначала возненавидел Елизавету Николаевну за то, что она ездит верхом, что чуть не ругал ее вслух на улице; да и ругал же! Еще позавчера ругал, когда она проезжала, – к счастью, не расслышала, – и вдруг сегодня стихи! Знаете, что он хочет сделать предложение? Серьезно, серьезно!

— Я вам удивляюсь, Липутин, везде-то вы вот, где только такая гадость заведется, везде-то вы тут руководите! – проговорил я в ярости.

— Однако же вы далеко заходите, господин Г-в; не дрогнуло ли у нас сердечко, испугавшись соперника, а?

— Что-о-о? – закричал я, останавливаясь.

— А вот вам в наказание и ничего не скажу дальше! А ведь как бы вам хотелось услышать? Уже одно то, что этот дуралей теперь не просто капитан, а помещик нашей области, да еще довольно значительный, потому что Николай Всеволодович ему все свое поместье, бывшие свои двести гектаров, на днях продал, и вот вам бог, не вру! Сейчас узнал, но зато из самого верного источника. Ну, а теперь допытывайтесь сами; больше ничего не скажу; до свидания-с!

Х

Х

Степан Трофимович ждал меня с истерическим нетерпением. Он вернулся домой уже как час. Я застал его словно пьяным; первые минут пять я даже решил, что он и вправду выпил. Увы, визит к Дроздовым окончательно выбил его из колеи.

— Mon ami, я совсем потерял нить... Лиза... я люблю и уважаю этого ангела по-прежнему; именно по-прежнему; но, мне кажется, они обе ждали меня, чтобы кое-что выведать, попросту вытянуть из меня информацию, а там и катись колбаской... Это так.

— Как вам не стыдно! — воскликнул я, не выдержав.

— Друг мой, я теперь совершенно один. Enfin, c'est ridicule. Представь, что и там всё пронизано тайнами. Накинулись на меня с этими "носами" и "ушами", еще с какими-то петербургскими тайнами. Они ведь обе только здесь впервые узнали об этих местных историях с Николаем четыре года назад: "Вы там были, вы видели, правда ли, что он не в себе?" И откуда эта идея взялась, не понимаю. Почему Прасковье так хочется, чтобы Николай оказался сумасшедшим? Хочется этой женщине, хочется! Этот Морис, или как его, Маврикий Николаевич, brave homme tout de même, но неужели в его пользу, и после того как сама же первая писала из Парижа cette pauvre amie... Enfin, эта Прасковья, как называет ее cette chère amie, это тип, это бессмертная гоголевская Коробочка, но только злая Коробочка, задорная Коробочка и в бесконечно увеличенном виде.

— Да ведь это сундук выйдет; уж и в увеличенном?

— Ну, в уменьшенном, всё равно, только не перебивай, потому что у меня всё это крутится в голове. Там они совсем разругались; кроме Лизы; та всё еще: "Тетя, тетя", но Лиза хитра, и тут еще что-то есть. Тайны. Но со старухой поссорились. Cette pauvre тетя, правда, всех деспотирует... а тут и губернаторша, и непочтительность общества, и "непочтительность" Кармазинова; а тут вдруг эта мысль о помешательстве, этот Липутин, ce que je ne comprends pas, и-и, говорят, голову уксусом обмочила, а тут и мы с тобой, с нашими жалобами и с нашими письмами... О, как я мучил ее, и в такое время! Je suis un ingrat! Вообрази, возвращаюсь и нахожу от нее письмо; читай, читай! О, как неблагородно было с моей стороны.

Он подал мне только что полученное письмо от Варвары Петровны. Она, кажется, раскаялась в своем утреннем "Сидите дома". Письмо было вежливое, но все-таки решительное и немногословное. Послезавтра, в воскресенье, она просила Степана Трофимовича к себе ровно в двенадцать часов и советовала привести с собой кого-нибудь из друзей (в скобках стояло мое имя). Со своей стороны, обещалась позвать Шатова, как брата Дарьи Павловны. "Вы можете получить от нее окончательный ответ, достаточно ли с вас будет? Этой ли формальности вы так добивались?"

— Заметь эту раздражительную фразу в конце о формальности. Бедная, бедная, друг всей моей жизни! Признаюсь, это внезапное решение судьбы меня точно придавило... Я, признаюсь, всё еще надеялся, а теперь tout est dit, я уж знаю, что кончено; c'est terrible. О, кабы не было совсем этого воскресенья, а всё по-старому: ты бы ходил, а я бы тут...

— Вас сбили с толку все эти сегодняшние липутинские мерзости, сплетни.

— Вас с толку сбили все эти недавние липутинские гадости, сплетни.

— Друг мой, вы сейчас попали в другое больное место, своим дружеским пальцем. Эти дружеские пальцы вообще безжалостны, а иногда бестолковы, pardon, но, вот верите ли, а я почти забыл обо всем этом, о гадостях-то, то есть я вовсе не забыл, но я, по глупости своей, всё время, пока был у Лизы, старался быть счастливым и убеждал себя, что я счастлив. Но теперь... о, теперь я про эту великодушную, гуманную, терпеливую к моим подлым недостаткам женщину, — то есть хоть и не совсем терпеливую, но ведь и сам-то я каков, с моим пустым, скверным характером! Ведь я как дитя малое, со всем эгоизмом ребенка, но без его невинности. Она двадцать лет ходила за мной, как нянька, cette pauvre тетя, как грациозно называет ее Лиза... И вдруг, после двадцати лет, ребенок захотел жениться, жени да жени, сообщение за

сообщением в Телеграме, а у нее голова в укусе и... и вот и достиг, в воскресенье женатый человек, шутка сказать... И чего сам настаивал, ну зачем я писал? Да, забыл: Лиза боготворит Дарью Павловну, говорит по крайней мере; говорит про нее: «C'est un ange, но только несколько скрытный». Обе советовали, даже Прасковья... впрочем, Прасковья не советовала. О, сколько яда заперто в этой Коробочке! Да и Лиза, собственно, не советовала: «К чему вам жениться; довольно с вас и ученых наслаждений». Хохоchet. Я ей простил ее хохот, потому что у ней у самой скребет на сердце. Вам, однако, говорят они, без женщины невозможно. Приближаются ваши немощи, а она вас укроет, или как там... Ma foi, я и сам, всё это время с вами сидя, думал про себя, что провидение посылает ее на склоне бурных дней моих и что она меня укроет, или как там... enfin, понадобится в хозяйстве. Вон у меня такой бардак, вон, смотрите, всё это валяется, давеча велел прибрать, и книга на полу. La pauvre amie всё сердилась, что у меня бардак... О, теперь уж не будет раздаваться голос ее! Vingt ans! И-и у них, кажется, анонимки, вообразите, Николас продал будто бы Лебядкину квартиру. C'est un monstre; et enfin, кто такой Лебядкин? Лиза слушает, слушает, ух как она слушает! Я простил ей ее хохот, я видел, с каким лицом она слушала, и се Maurice... я бы не желал быть в его теперешней роли, brave homme tout de même, но несколько застенчив; впрочем, бог с ним...

Он замолчал; он устал и сбился и сидел, понурился голову, смотря неподвижно в пол усталыми глазами. Я воспользовался паузой и рассказал о моем посещении дома Филиппова, причем резко и сухо выразил мое мнение, что действительно сестра Лебядкина (которую я не видал) могла быть когда-то какой-нибудь жертвой Николаса, в загадочную пору его жизни, как выражался Липутин, и что очень может быть, что Лебядкин почему-нибудь получает от Николаса деньги, но вот и всё. Насчет же сплетен о Дарье Павловне, то всё это вздор, всё это натяжки мерзавца Липутина, и что так по крайней мере с жаром утверждает Алексей Нилыч, которому нет оснований не верить. Степан Трофимович прослушал мои уверения с рассеянным видом, как будто до него это не касалось. Я кстати упомянул и о разговоре моем с Кирилловым и прибавил, что Кириллов, может быть, сумасшедший.

Он замолчал, выдохся. Сидел, опустил голову, уставившись усталым взглядом в пол. Я воспользовался паузой и рассказал о своем визите к Филиппову, довольно резко высказав мнение, что сестра Лебядкина (которую я так и не видал) вполне могла быть когда-то жертвой этого Николая, в его загадочный период, как выражался Липутин. И что Лебядкин, скорее всего, получает от Николая какие-то деньги. Но и всё. А что касается сплетен о Дарье Павловне, то это полная чушь, натяжки этого мерзавца Липутина. По крайней мере, так горячо утверждает Алексей Нилыч, которому нет оснований не верить. Степан Трофимович слушал мои уверения рассеянно, словно это его не касалось. Я, кстати, упомянул и о разговоре с Кирилловым, добавив, что Кириллов, возможно, просто не в себе.

– Он не сумасшедший, просто это люди с... короткими мыслями, – вяло пробормотал Степан Трофимович, словно через силу. – *Ces gens-là supposent la nature et la société humaine autres que Dieu ne les a faites et qu'elles ne sont réellement.* Они воображают себе природу и человеческое общество не такими, какими их создал Бог, и какими они есть на самом деле. С ними заигрывают, но только не Степан Верховенский. Я видел их тогда в Петербурге, *avec cette chère amie* (о, как я тогда ее оскорблял!), и не только их ругательств... Я даже их похвал не испугался. Не испугаюсь и сейчас, *mais parlons d'autre chose*... Поговорим о другом... Я, кажется, ужасных дел натворил. Представьте, я отправил Дарье Павловне вчера письмо и... Как я себя за это проклинаяю!

– О чем же вы писали?

– О, друг мой, поверьте, всё это с таким благородством! Я уведомил ее, что написал Николаю, еще дней пять назад, и тоже с благородством.

– Теперь понимаю! – воскликнул я с жаром. – И какое право вы имели их так сопоставлять?

– Но, **mon cher**, не давите же на меня окончательно, не кричите. Я и так раздавлен, как... как таракан. И, в конце концов, я думаю, что всё это так благородно. Предположите, что там что-то действительно было... **en Suisse**... Или начиналось. Должен же я спросить сердца их предварительно, чтобы... **enfin**, чтобы не помешать сердцам и не встать столбом на их дороге... Я единственно из благородства.

– Боже, как глупо вы поступили! – невольно вырвалось у меня.

– Глупо, глупо! – подхватил он даже с жадностью. – Никогда ничего умнее не говорили. **C'était bête, mais que faire, tout est dit.** Это было глупо, но что делать, всё решено. Всё равно женюсь, хоть и на "чужих грехах", так к чему было и писать? Правда ведь?

– Вы опять за свое!

— Ты опять за своё!

— О, теперь меня не испугаешь своими криками, теперь перед тобой уже не тот Степан Трофимович; тот похоронен; *enfin, tout est dit*. Да и чего кричишь? Только потому, что не сам женишься и не тебе придётся носить этот... обручальное кольцо. Опять тебя коробит? Бедный мой друг, ты не знаешь женщин, а я только и делал, что изучал их. "Если хочешь победить весь мир, победи себя" – единственное, что удалось хорошо сказать другому такому же романтику, Шатову, братцу моей будущей супруги. Охотно у него заимствую это изречение. Ну, вот и я готов победить себя, и женюсь, а что завоюю вместо целого мира? О друг мой, брак – это моральная смерть для всякой гордой души, всякой независимости. Брачная жизнь развратит меня, отнимет энергию, мужество в служении делу, пойдут дети, ещё, пожалуй, не мои, то есть, разумеется, не мои; мудрый не боится смотреть правде в глаза... Липутин предлагал недавно спастись от Николая баррикадами; он глуп, Липутин. Женщина обманет даже всевидящее око. *Le bon Dieu*, создавая женщину, уж конечно, знал, на что шёл, но я уверен, что она сама помешала ему и сама заставила себя создать в таком виде и... с такими атрибутами; иначе кто захочет наживать себе такие хлопоты даром? Настасья, я знаю, может, и рассердится на меня за вольнодумство, но... *Enfin, tout est dit*.

Он не был бы самим собой, если бы обошёлся без дешёвенького, каламбурного вольнодумства, так процветавшего в его время, по крайней мере, теперь утешил себя каламбурчиком, но ненадолго.

— О, почему бы совсем не быть этому послезавтра, этому воскресенью! — воскликнул он вдруг, но уже в совершенном отчаянии, — почему бы не быть хоть одной этой неделе без воскресенья – *si le miracle existe?* Ну что бы стоило провидению вычеркнуть из календаря хоть одно воскресенье, ну хоть для того, чтобы доказать атеисту своё могущество, *et que tout soit dit!* О, как я любил её! Двадцать лет, все двадцать лет, и никогда она не понимала меня!

— Но про кого вы говорите; и я вас не понимаю! — спросил я с удивлением.

— *Vingt ans!* И ни разу не поняла меня, о, это жестоко! И неужели она думает, что я женюсь из страха, из нужды? О позор! Тётя, тётя, я для тебя!.. О, пусть узнает она, эта тётя, что она единственная женщина, которую я обожал двадцать лет! Она должна узнать это, иначе никак, иначе только силой потащат меня под этот *se qu'on appelle le veneц!*

Я впервые слышал это признание и так энергично высказанное. Не скрою, что мне ужасно хотелось засмеяться. Я был не прав.

— Один, один он мне остался теперь, одна надежда моя! — всплеснул он вдруг руками, как бы внезапно поражённый новой мыслью, — теперь один только он, мой бедный мальчик, спасёт меня и — о, что же он не едет! О сын мой, о мой Петруша... и хоть я недостойн называться отцом, а скорее тигром, но... *laissez-moi, mon ami*, я немножко полежу, чтобы собраться с мыслями. Я так устал, так устал, да и вам, я думаю, пора спать, *voyez-vous*, двенадцать часов...

Глава четвёртая

Хромоножка

I

Я не стал спорить и, как и договаривались, явился к Лизе к полудню. Мы вошли почти одновременно; я тоже решил нанести свой первый визит. Они все, то есть Лиза, её мама и Маврикий Николаевич, сидели в гостиной и что-то бурно обсуждали. Мама требовала, чтобы Лиза сыграла ей какой-то вальс на пианино, и когда та начала играть, заявила, что вальс не тот. Маврикий Николаевич, по своей простоте, вступился за Лизу, уверяя, что вальс именно тот самый; старушка от злости чуть не расплакалась. Она чувствовала себя неважно и с трудом передвигалась. Ноги отекали, и она уже несколько дней только и делала, что капризничала и придиралась ко всем, хотя Лизу побаивалась. Нашему приходу обрадовались. Лиза покраснела от удовольствия и, проговорив мне "merci", очевидно, за Шатова, подошла к нему, с любопытством рассматривая.

Шатов неловко замер в дверях. Поблагодарив его за визит, она подвела его к маме.

— Это господин Шатов, о котором я вам говорила, а это господин Г-в, мой хороший знакомый и друг Степана Трофимовича. Маврикий Николаевич вчера тоже познакомился.

— А он профессор?

— Да нет там никакого профессора, мама.

— Как нет? Ты же говорила, что будет профессор; наверное, вот этот, — она с пренебрежением указала на Шатова.

— Я никогда не говорила, что будет профессор. Господин Г-в работает в администрации, а господин Шатов — бывший студент.

— Студент, профессор, какая разница, все из университета. Лишь бы спорить. А тот, швейцарский, был с усами и бородкой.

— Это мама сына Степана Трофимовича все профессором называет, — пояснила Лиза и увела Шатова в другой конец комнаты, к дивану.

— Когда у неё ноги отекают, она всегда такая, понимаете, болеет, — шепнула она Шатову, продолжая разглядывать его с тем же любопытством, особенно его вихор на голове.

— Вы военный? — обратилась ко мне старуха, с которой меня так бесцеремонно оставила Лиза.

— Нет, я служу...

— Господин Г-в — хороший знакомый Степана Трофимовича, — тут же вставила Лиза.

— Служите у Степана Трофимовича? Так он же тоже профессор?

— Мама, вам, наверное, и во сне профессора снятся, — с досадой воскликнула Лиза.

— Хватает и наяву. Ты вечно матери перечишь. Вы здесь были, когда Николай Всеволодович приезжал, года четыре назад?

Я ответил, что был.

— А какой-нибудь англичанин с вами был?

— Нет, не было.

Лиза засмеялась.

— Вот видите, не было никакого англичанина, значит, все выдумки. И Варвара Петровна, и Степан Трофимович — все врут. Да и все врут.

— Это тётя и Степан Трофимович вчера нашли сходство между Николаем Всеволодовичем и принцем Гарри, из "Генриха IV" Шекспира, а мама говорит, что не было никакого англичанина, — объяснила нам Лиза.

— Если Гарри не было, то и англичанина не было. Один Николай Всеволодович чудил.

— Уверяю вас, мама просто вредничает, — пояснила Лизе Шатову, — она прекрасно знает Шекспира. Я ей сама первый акт "Отелло" читала; но сейчас она очень страдает. Мама, слышите, двенадцать часов, пора лекарство принимать.

— Доктор приехал, — появилась в дверях горничная.

Старуха приподнялась и начала звать собачку: "Земирка, Земирка, пойдем хоть ты со мной".

Вредная, старая, маленькая собачонка Земирка не слушалась и залезла под диван, где сидела Лиза.

— Не хочешь? Ну и я тебя не хочу. Прощайте, батюшка, не знаю вашего имени-отчества, — обратилась она ко мне.

— Антон Лаврентьевич...

— Антон Лаврентьевич...

— Да ладно, всё мимо ушей пролетело. Не провожайте, Маврикий Николаевич, я только Земиру позвала. Слава богу, пока сама хожу, а завтра вообще на прогулку поеду.

Она недовольно вышла из гостиной.

— Антон Лаврентьевич, вы пока с Маврикием Николаевичем пообщайтесь, уверяю, обоим полезно будет познакомиться поближе, — сказала Лиза и дружелюбно улыбнулась Маврикию Николаевичу, который прямо расцвел от её взгляда. Мне ничего не оставалось, как остаться и поговорить с Маврикием Николаевичем.

II

Дело у Лизаветы Николаевны до Шатова, к моему удивлению, оказалось действительно только литературным. Не знаю почему, но мне казалось, что она позвала его по какому-то другому поводу. Мы, то есть я с Маврикием Николаевичем, видя, что от нас не таятся и говорят довольно громко, стали прислушиваться; потом и нас пригласили к обсуждению. Оказалось, Лизавета Николаевна давно задумала издание одной полезной, по её мнению, книги, но из-за полного отсутствия опыта нуждалась в помощнике. Серьёзность, с которой она принялась объяснять Шатову свой план, даже меня удивила. "Наверное, из новых веяний, — подумал я, — не зря в Швейцарии училась". Шатов слушал внимательно, уставившись в пол и ничуть не удивляясь тому, что светская барышня берется за такое, казалось бы, совсем не подходящее ей дело.

Литературный проект был такого рода. В России издается множество столичных и региональных газет и журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. Год проходит, газеты повсеместно складываются в шкафы или выбрасываются, рвутся, идут на обертки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти, но потом с годами забываются. Многие хотели бы потом уточнить детали, но как найти нужную информацию в этом море страниц, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года события? А между тем, если бы собрать все эти факты за год в одну книгу, по определенному плану и с определенной идеей, с оглавлениями, указателями, с разбивкой по месяцам и числам, то такая совокупность могла бы обрисовать картину русской жизни за весь год, несмотря на то, что публикуется лишь малая доля от всего происходящего.

— Вместо кучи постов в Телеграме получится несколько толстых томов, вот и всё, — заметил Шатов.

Но Лизавета Николаевна горячо отстаивала свою идею, хоть и выражалась сбивчиво. Книга должна быть одна, даже не очень толстая, — уверяла она. Но, допустим, хоть и толстая, но ясная, потому что главное — в структуре и в том, как подать факты. Конечно, не всё подряд собирать и перепечатывать. Указы, действия администрации, местные распоряжения, законы — всё это, хоть и важные вещи, но в нашей книге можно опустить. Можно многое выкинуть и ограничиться лишь выбором событий, которые отражают моральное состояние людей, дух народа в этот момент. Конечно, всё может войти: смешные случаи, пожары, жертвования, хорошие и плохие поступки, всякие разговоры, может, даже новости о подтоплениях, может, даже и некоторые приказы сверху, но из всего выбирать только то, что рисует эпоху; всё войдет с определенным взглядом, с акцентом, с целью, с мыслью, которая освещает всё целое, всю картину. И чтобы книгу было интересно читать, даже просто для развлечения, не говоря уже о том, что она должна быть полезной для справок! Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней жизни России за год. "Нужно, чтобы все покупали, нужно, чтобы

книга стала настольной, – утверждала Лиза, – я понимаю, что всё дело в плане, а потому к вам и обращаюсь”, – заключила она. Она очень разволновалась, и, несмотря на то что объяснялась путано, Шатов стал понимать.

– Значит, получится что-то с уклоном, подбор фактов под определенный уклон, – пробормотал он, всё еще не поднимая головы.

– Вовсе нет, не надо подбирать под уклон, и никакого уклона не надо. Только объективность – вот наш принцип.

– Да уклон и не страшен, – зашевелился Шатов, – да и нельзя его избежать, как только начнешь что-то выбирать. В самом отборе фактов и будет видно, как их понимать. Ваша идея неплоха.

– Так возможна, значит, такая книга? – обрадовалась Лиза.

– Надо подумать и прикинуть. Дело это – огромное. Сразу ничего не придумаешь. Опыт нужен. Да и когда издадим книгу, вряд ли сразу пойдем, как ее надо делать. Разве что после нескольких попыток; но мысль интересная. Мысль полезная.

Он наконец поднял глаза, и они даже заблестели от интереса.

– Это вы сами придумали? – ласково и как бы стесняясь спросил он у Лизы.

– Да придумать не сложно, план – вот что сложно, – улыбалась Лиза, – я не очень умна, и стараюсь понять только то, что мне самой ясно...

– Стараетесь понять?

– Наверное, не то слово? – быстро спросила Лиза.

– Можно и это слово; я не против.

– Мне еще за границей показалось, что я могу быть чем-то полезна. Деньги у меня есть, лежат без дела, почему бы и мне не поработать для общего дела? К тому же мысль как-то сама собой пришла; я ее не придумывала и очень ей обрадовалась; но сразу поняла, что без помощника не обойтись, потому что сама ничего не умею. Помощник, разумеется, станет и соиздателем книги. Мы пополам: ваш план и работа, моя идея и деньги на издание. Ведь окупится книга?

– Если найдем правильный подход, то книга пойдет.

– Предупреждаю вас, что я не ради прибыли, но очень хочу, чтобы книга хорошо продавалась, и буду горда, если она принесет доход.

– Ну, а я тут при чем?

– Да ведь я же вас и зову в помощники... пополам. Вы план придумаете.

– А почему вы решили, что я смогу придумать план?

– Откуда вы знаете, что я вообще способен какой-то план придумать?

– Мне о вас говорили. И здесь я слышала... Я знаю, что вы очень умный, занимаетесь делом, много думаете. Мне о вас Пётр Степанович Верховенский ещё в Швейцарии рассказывал, – торопливо добавила она. – Он ведь умный человек, правда?

Шатов бросил на неё мимолётный взгляд, тут же отвёл глаза.

– И Николай Всеволодович мне о вас тоже много говорил...

Шатов вдруг покраснел.

– Впрочем, вот, – Лиза схватила со стула приготовленную пачку газет, перевязанную резинкой. – Я тут попробовала выбрать факты, сделать подборку, пронумеровала... Сами посмотрите.

Шатов взял пачку.

– Возьмите домой, изучите. Вы где живёте?

– На Богоявленской, в доме Филиппова.

– Знаю. Там, кажется, ещё какой-то капитан живёт по соседству с вами, господин Лебядкин? – всё так же торопилась Лиза.

Шатов с пачкой в руке, словно застыв, простоял минуту, глядя в пол.

– Для таких дел вам лучше другого выбрать. Я вам совсем не подойду, – проговорил он наконец, понизив голос почти до шёпота.

Лиза вспыхнула.

– О каких делах вы говорите? Маврикий Николаевич! – крикнула она. – Пожалуйста, принесите сюда то письмо.

Я тоже подошёл к столу.

– Посмотрите, – обратилась она ко мне, взволнованно разворачивая письмо. – Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Прочтите вслух, пожалуйста. Мне нужно, чтобы и господин Шатов услышал.

С немалым изумлением я прочёл следующее послание:

"Совершенству девицы Тушиной.

Милостивая государыня, Елизавета Николаевна!

О, как мила она,

Елизавета Тушина,

Когда с подругой в кафе сидит,

И селфи в Инстаграм летит,

Или когда с матерью в храм заходит,

И румянец на лице благодать находит!

Тогда брачных и законных наслаждений желаю

И вслед ей, вместе с матерью, лайк посылаю.

Сочинил неуч в споре.

Милостивая государыня!

Больше всего жалею, что не был в Бахмуте, не получил ранение за Родину, а всю жизнь провёл в тылу, занимаясь бумажной работой. Вы – богиня, а я – никто. Смотрите на это как на стихи, но не более, ибо стихи – вздор, оправдывающий то, что в прозе считается наглостью. Может ли солнце обидеться на инфузорию, если та напишет ему стих из капли воды, где их миллионы, если смотреть в микроскоп? Даже волонтерские организации, помогающие животным, презирают инфузорий, потому что они слишком малы. Не дорос и я. Мысль о браке смешна. Скоро получу компенсацию как переселенец. Могу многое рассказать, даже готов поехать на передовую. Не отвергайте моё предложение. Воспринимайте это письмо как стихи от инфузории.

Капитан Лебядкин,

покорнейший друг и имеет досуг".

– Это написал пьяный негодяй! – воскликнул я в негодовании. – Я его знаю!

— Да это писал какой-то обдолбанный идиот! — возмущенно воскликнул я. — Я знаю, кто это!

— Это сообщение я получила вчера, — покраснев, быстро заговорила Лиза. — Я сразу поняла, что это какая-то ерунда от придурка. Я даже маме не показала, чтобы ее не расстраивать. Но если он будет продолжать, я не знаю, что делать. Маврикий Николаевич хотел пойти и поговорить с ним. А так как я вас рассматривала как возможного сотрудника, — обратилась она к Шатову, — и вы там живете, я хотела спросить, чего от него ожидать.

— Обдолбанный идиот, — пробормотал Шатов, будто нехотя.

— Он всегда такой глупый?

— Да нет, он не глупый, когда трезвый.

— Я знал одного генерала, который такие же посты писал, — усмехнулся я.

— Даже по этому сообщению видно, что у него что-то на уме, — неожиданно вставил молчаливый Маврикий Николаевич.

— Говорят, он с какой-то сестрой живет? — спросила Лиза.

— Да, с сестрой.

— Говорят, он ее тиранит, это правда?

Шатов снова посмотрел на Лизу, нахмурился и, проворчав: «Какое мне дело!», двинулся к двери.

— Ах, постойте, — тревожно воскликнула Лиза, — куда же вы? Нам еще столько нужно обсудить...

— О чем говорить? Я завтра дам знать...

— Да о самом главном, о телеграм-канале! Поверьте, я серьезно хочу этим заниматься, — с нарастающей тревогой уверяла Лиза. — Если мы решим что-то опубликовать, где мы будем это делать? В Москву мы для этого не поедем, а местные каналы для такого не подойдут. Я давно думаю о своем канале, можно даже на вас зарегистрировать, и мама, я знаю, разрешит...

— Почему вы решили, что я могу быть админом? — угрюмо спросил Шатов.

— Да мне еще Петр Степанович в Швейцарии говорил, что вы разбираетесь в этом и можете вести канал. Он даже хотел вам записку передать, но я забыла.

Шатов, как я сейчас помню, изменился в лице. Он постоял еще несколько секунд и вдруг вышел из комнаты.

Лиза рассердилась.

— Он всегда так уходит? — повернулась она ко мне.

Я пожал плечами, но Шатов вдруг вернулся, подошел к столу и положил взятую им пачку газет:

— Я не буду сотрудничать, у меня нет времени...

— Почему же, почему же? Вы, кажется, рассердились? — огорченно и умоляюще спросила Лиза.

Звук ее голоса будто поразил его; несколько мгновений он пристально в нее всматривался, словно желая проникнуть в самую ее душу.

— Все равно, — тихо пробормотал он, — я не хочу...

И ушел окончательно. Лиза была совершенно поражена, даже как-то слишком сильно, как мне показалось.

— Удивительно странный человек! — громко заметил Маврикий Николаевич.

Конечно, «странный», но во всем этом было что-то неясное. Что-то подразумевалось. Я решительно не верил в этот телеграм-канал. Потом это глупое сообщение, в котором слишком явно намекалось на какой-то донос «по документам», о чем они все промолчали, а говорили совсем о другом. Наконец, этот канал и внезапный уход Шатова именно из-за разговора о нем. Все это навело меня на мысль, что тут что-то произошло до меня, о чем я не знаю, что я лишний и что это не мое дело. Да и пора было уходить, достаточно для первого визита. Я подошел попрощаться с Лизаветой Николаевной.

Конечно, всё это было "странно", но в этом было что-то недосказанное. Что-то подразумевалось. Я не доверял этому новостному каналу; потом это нелепое сообщение, в котором слишком явно предлагался какой-то донос "по документам", и о котором все они умолчали, а говорили совсем о другом; наконец, этот волонтерский штаб и внезапный уход Шатова именно потому, что заговорили о штабе. Всё это навело меня на мысль, что тут еще до меня что-то произошло, о чем я не знаю; что, стало быть, я лишний, и что всё это не мое дело. Да и пора было уходить, достаточно для первого визита. Я подошел попрощаться с Елизаветой Николаевной.

Она, казалось, и забыла, что я в комнате, и стояла всё на том же месте у стола, очень задумавшись, склонив голову и неподвижно смотря в одну точку на ковре.

— Ах, и вы, до свидания, — пролепетала она привычно-ласковым тоном. — Передайте мой привет Степану Трофимовичу и уговорите его прийти ко мне поскорее. Маврикий Николаевич, Антон Лаврентьевич уходит. Извините, мама не может выйти с вами проститься...

Я вышел и уже спустился с лестницы, как вдруг охранник догнал меня на крыльце:
— Елизавета Николаевна очень просили вернуться...

Я нашел Лизу уже не в той большой комнате, где мы сидели, а в соседней приемной. В ту комнату, в которой остался теперь Маврикий Николаевич один, дверь была плотно закрыта.

Лиза улыбнулась мне, но была бледна. Она стояла посреди комнаты в явной нерешительности, в явной борьбе; но вдруг взяла меня за руку и молча, быстро подвела к окну.

— Я немедленно хочу ее видеть, — прошептала она, устремив на меня горячий, сильный, нетерпеливый взгляд, не допускающий и тени возражения, — я должна ее видеть собственными глазами и прошу вашей помощи.

Она была в совершенном смятении и — в отчаянии.

— Кого вы хотите видеть, Елизавета Николаевна? — спросил я в испуге.

— Эту Лебядкину, эту... с инвалидностью... Правда, что у нее инвалидность?

Я был поражен.

— Я никогда не видел ее, но я слышал, что у нее инвалидность, вчера еще слышал, — лепетал я с торопливой готовностью и тоже шепотом.

— Я должна ее видеть непременно. Могли бы вы это устроить сегодня же?

Мне стало ужасно ее жалко.

— Это невозможно, и к тому же я совершенно не понимаю, как это сделать, — начал было я уговаривать, — я пойду к Шатову...

— Если вы не устроите к завтрашнему дню, то я сама к ней пойду, одна, потому что Маврикий Николаевич отказался. Я надеюсь только на вас, и больше у меня никого нет; я глупо говорила с Шатовым... Я уверена, что вы совершенно честный и, может быть, преданный мне человек, только устройте.

У меня появилось страстное желание помочь ей во всем.

— Вот что я сделаю, — подумал я немного, — я пойду сам и сегодня наверняка, наверняка ее увижу! Я так сделаю, что увижу, даю вам честное слово; но только — позвольте мне довериться Шатову.

— Скажите ему, что у меня такое желание и что я больше ждать не могу, но что я его сейчас не обманывала. Он, может быть, ушел потому, что он очень честный и ему не понравилось, что я как будто обманывала. Я не обманывала; я в самом деле хочу помогать и основать волонтерский штаб...

— Он честный, честный, — подтверждал я с жаром.

— Впрочем, если к завтрашнему дню не устроится, то я сама пойду, что бы ни вышло и хотя бы все узнали.

— Я раньше, чем к трем часам, не могу у вас завтра быть, — заметил я, немного придя в себя.

— Я раньше трёх часов никак не смогу к вам, — сказал я, немного придя в себя.

— Значит, в три. Значит, я вчера у Степана Трофимовича правильно предположила, что вы мне... несколько преданы? — улыбнулась она, торопливо пожимая мне руку на прощание и направляясь к ждавшему её Маврикию Николаевичу.

Я вышел, подавленный своим обещанием, не понимая, что вообще произошло. Я видел женщину в отчаянии, не побоявшуюся довериться почти незнакомому человеку. Её женственная улыбка в такой трудный момент и намёк на то, что она заметила мои чувства, кольнули меня. Но мне было жаль её, просто жаль. Её секреты стали для меня чем-то священным, и если бы мне стали открывать их, я бы, наверное, заткнул уши. Я что-то предчувствовал... Но я совершенно не понимал, как я могу помочь. И я до сих пор не знал, что именно нужно сделать: организовать встречу, но какую? И как их свести? Вся надежда была на Шатова, хотя я знал, что он вряд ли поможет. Но я всё равно пошёл к нему.

Только вечером, около восьми, я застал его дома. К моему удивлению, у него были гости — Алексей Нильч и ещё один знакомый, Шигалев, брат жены Виргинского.

Шигалев, кажется, месяца два как гостил в городе. Не знаю, откуда он приехал; я слышал, что он опубликовал какую-то статью в одном либеральном Telegram-канале. Виргинский познакомил меня с ним случайно на улице. Я никогда не видел такого мрачного и угрюмого человека. Он выглядел так, будто ждал конца света, причём не когда-нибудь, а вот-вот, послезавтра утром, ровно в 10:25. Впрочем, мы тогда почти не разговаривали, просто пожали друг другу руки, как два конспиратора. Больше всего меня поразили его огромные уши, длинные, широкие и толстые, торчавшие в разные стороны. Движения его были медленными и неуклюжими. Если Липутин когда-то мечтал о создании фаланстера в нашей области, то этот точно знал день и час, когда это произойдёт. Он произвёл на меня зловещее впечатление. Увидев его у Шатова, я удивился, тем более что Шатов не любил гостей.

Ещё с лестницы было слышно, что они громко разговаривают, все трое сразу, и, кажется, спорят. Но как только я вошёл, все замолчали. Они стояли, споря, а теперь вдруг сели, так что и я должен был сесть. Глупое молчание длилось минуты три. Шигалев, хотя и узнал меня, сделал вид, что не знает, наверно, не из враждебности, а просто так. С Алексеем Нильчем мы слегка поклонились, но молча и почему-то не пожали друг другу руки. Шигалев начал смотреть на меня строго и хмуро, с уверенностью, что я сейчас встану и уйду. Наконец, Шатов встал со стула, и все тоже вскочили. Они вышли, не прощаясь. Только Шигалев уже в дверях сказал Шатову:

— Помните, что вы должны отчитаться.

— Да плевать на ваши отчёты, никому я ничего не должен, — ответил Шатов и запер дверь на крючок.

— Кулики! — сказал он, посмотрев на меня и криво усмехнувшись.

— "Прилёты!" — сказал он, глядя на меня и как-то криво усмехнувшись.

Лицо у него было сердитое, и мне было странно, что он сам заговорил. Обычно, когда я заходил к нему (впрочем, очень редко), он хмуро садился в угол, отвечал сердито и только спустя долгое время оживлялся и начинал говорить с удовольствием. Зато, прощаясь, всякий раз хмурился и выпускал тебя, словно выпроваживал личного врага.

— Я вчера у этого Аркадия Павловича чай пил, — заметил я. — Он, кажется, помешан на деколонизации.

— Русский радикализм никогда дальше мемов не заходил, — проворчал Шатов, вставляя новую свечу вместо огарка.

— Нет, этот, мне кажется, не мемный. Он и просто говорить, кажется, не умеет, не то что мемы делать.

— Люди из методички; от холуйства мысли всё это, — спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и упершись ладонями в колени.

— Ненависть тоже тут есть, — произнес он, помолчав с минуту. — Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия вдруг перестроилась, даже на их лад, и стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся... И никаких невидимых миру слёз из-под видимого смеха тут нет! Никогда ещё не было сказано более фальшивого слова, чем про эти незримые слёзы! — вскричал он почти с яростью.

— Ну, это вы уж бог знает что! — засмеялся я.

— А вы — "умеренный либерал", — усмехнулся Шатов. — Знаете, — подхватил он вдруг, — я, может, и сморозил про "холуйство мысли"; вы, верно, мне тотчас скажете: "Это ты от холуя родился, а я не холуй".

— Вовсе я не хотел сказать... что вы!

— Да вы не извиняйтесь, я вас не боюсь. Тогда я только от холуя родился, а теперь и сам стал холуем, таким же, как и вы. Наш русский либерал прежде всего холуй и только и смотрит, как бы кому-нибудь ботинки вылизать.

— Какие ботинки? Что за аллегория?

— Какая тут аллегория! Вы, я вижу, смеетесь... Степан Трофимович правду сказал, что я под плитой лежу, раздавлен, да не задавлен, и только корчусь; это он хорошо сравнил.

— Степан Трофимович уверяет, что вы помешались на "загранице", — смеялся я, — мы у "заграницы" всё же что-нибудь да стащили себе в карман.

— Копейку взяли, а рубль свой отдали.

С минуту мы помолчали.

— А это он в эмиграции себе належал.

— Кто? Что належал?

— Я про Кириллова. Мы с ним там четыре месяца в скоте на полу пролежали.

— Да разве вы ездили в эмиграцию? — удивился я. — Вы никогда не говорили.

— Чего рассказывать. Три года назад мы отправились втроём на лоукостере в Аргентину на последние деньги, "чтобы испытать на себе жизнь эмигранта и таким образом личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении". Вот с какой целью мы отправились.

— Господи, — усмехнулся я. — Да лучше бы ты в какую-нибудь область нашу подался, во время посевной, "чтобы на личном опыте", а его в Америку понесло!

— Мы там нанялись к одному... предпринимателю, скажем так. Нас, русских, человек шесть собралось: студенты, даже бывшие бизнесмены, даже офицеры были, и все с той же высокой целью. Ну и работали, мокли, мучились, уставали. В итоге я и Кириллов ушли — заболели, не выдержали. Этот предприниматель при расчете обманул, вместо обещанных денег заплатил копейки. И бывало, что и накричит, и обругает. Ну и тут мы с Кирилловым без работы в каком-то городке на матрасах четыре месяца провалялись. Он о своем думал, а я о своем.

— Да ладно, чтобы там обманывали? В Америке-то? Ну и как, сильно возмущались?

— Да нет. Мы с Кирилловым сразу решили, что "мы, русские, перед американцами как дети малые, и надо родиться в Америке или хотя бы долго с ними пожить, чтобы их понять". Да что там: когда с нас за какую-нибудь мелочь требовали как за золото, мы платили не только без споров, но даже с каким-то энтузиазмом. Мы все хвалили: их свободу, их законы, их оружие, их дороги. Как-то едем, а один тип залез ко мне в карман, вытащил расческу и давай причесываться. Мы с Кирилловым только переглянулись и решили, что это круто и нам это очень даже нравится...

— Странно, что такое не только в голову приходит, но и воплощается, — заметил я.

— Люди из телевизора, — повторил Шатов.

— Но все-таки, переплыть океан на каком-нибудь старом пароме, в неизвестную страну, пусть даже с целью "получить личный опыт" и все такое — в этом, честно говоря, есть какая-то решимость... И как вы оттуда выбрались?

— Я одному человеку в Европу написал, он мне денег прислал.

Шатов, как обычно, во время разговора смотрел в пол, даже когда горячился. Тут вдруг поднял голову:

— Хочешь знать, кто этот человек?

— Ну и кто же?

— Николай Ставрогин.

Он резко встал, повернулся к своему старому столу и начал там что-то искать. Ходили слухи, что его жена какое-то время была с Николаем Ставрогиным в Париже, года два назад, когда Шатов был в Америке, — правда, уже после того, как она ушла от него в Женеве. "Если это правда, зачем он сейчас сам об этом заговорил?" — подумал я.

— Я ему до сих пор не отдал, — вдруг снова повернулся он ко мне и, пристально посмотрев, сел на прежнее место в углу и отрывисто спросил совсем другим тоном:

— Ты ведь зачем-то пришел? Что тебе нужно?

Я сразу же рассказал все, как было, и добавил, что хоть я и остыл после утренней вспышки, но запутался еще больше: понял, что тут что-то очень важное для Лизаветы Николаевны, и очень хотел бы помочь, но не знаю, как выполнить данное ей обещание, и даже не понимаю, что именно я ей обещал. Затем еще раз заверил его, что она не хотела его обманывать, что произошло какое-то недоразумение и что она очень расстроена его уходом.

Он внимательно выслушал.

— Может, я, как обычно, глупость сделал... Ну, если она сама не поняла, почему я ушел, то... тем лучше для нее.

Он встал, подошел к двери, приоткрыл ее и стал прислушиваться к лестничной клетке.

— Вы хотите лично с ней поговорить?

— Именно этого я и хочу! Но как это устроить? — Я подскочил от радости.

— Да просто пойдете сейчас, пока она одна. Вернется, если узнает, что мы приходили, побьет ее. Я часто к ней захожу потихоньку. Недавно я его оттащил, когда он опять на нее набросился.

— Что вы говорите?

— Самая правда. За волосы от нее оттащил. Он было хотел на меня за это накинуться, но я его припугнул, на том и закончилось. Боюсь, пьяный вернется, припомнит — сильно ей достанется.

Мы тут же спустились вниз.

V

Дверь к Лебядкиным была только прикрыта, не заперта, и мы вошли без стука. Все их жилище состояло из двух убогих комнатушек с закопченными стенами, на которых ключьями висели грязные обои. Когда-то здесь была шашлычная, пока хозяин, Филиппов, не перенес ее в новое место. Остальные комнаты, что были под шашлычной, теперь пустовали, а эти две достались Лебядкину. Мебель состояла из простых лавок и сколоченных столов, кроме одного старого кресла без подлокотника. Во второй комнате в углу стояла кровать под выцветшим пледом, принадлежавшая мадемуазель Лебядкиной, сам же капитан, ложась спать, каждый раз валился на пол, часто прямо в одежде. Везде было намусорено, накрошено, что-то пролито; большая, толстая, мокрая тряпка валялась в первой комнате посреди пола, и тут же, в той же луже, старый стоптанный тапок. Было видно, что здесь никто ничем не занимается; батареи холодные, еда не готовится; даже чайника у них не было, как подробно рассказал Шатов. Капитан приехал с сестрой совсем нищим и, как говорил Липутин, действительно сначала ходил по соседям, просил помочь; но, получив неожиданно перевод, тут же запил и совсем потерял голову от водки, так что ему было уже не до хозяйства.

Дверь в квартиру Лебядкиных была прикрыта, не заперта, и мы вошли без стука. Вся их обитель состояла из двух убогих комнатушек с обшарпанными стенами, где обои висели ключьями. Когда-то здесь была забегаловка, пока хозяин, некто Филиппов, не перенёс её в новое помещение. Остальные комнаты, что были под забегаловкой, теперь пустовали, а эти две достались Лебядкину. Мебель была самая простая: лавки, сколоченные из досок столы, да старое кресло без подлокотника. Во второй комнате, в углу, стояла кровать, застеленная ситцевым покрывалом — это было ложе мадемуазель Лебядкиной. Сам же капитан, если вообще удосуживался лечь, засыпал прямо на полу, часто в чём был. Везде валялся мусор, крошки, пролитая вода. Посреди первой комнаты валялась большая мокрая тряпка, а рядом с ней — старый стоптанный ботинок, прямо в луже. Было видно, что здесь никто не убирает, не готовит. Даже самовара у них не было, как потом рассказал Шатов. Капитан приехал с сестрой совершенно нищим и, как говорил Липутин, поначалу ходил по соседям, просил милостыню.

Но, получив неожиданно деньги, тут же запил и совсем потерял голову от водки, так что ему было уже не до хозяйства.

Мадемуазель Лебядкина, которую я так хотел увидеть, тихо сидела во второй комнате, в углу, за кухонным столом. Она не окликнула нас, когда мы вошли, даже не пошевелилась. Шатов говорил, что они и дверь не запирают, а однажды она всю ночь настежь стояла. В тусклом свете свечи в железном подсвечнике я разглядел женщину лет тридцати, болезненно худую, одетую в старое тёмное ситцевое платье. Шея у неё была длинная и ничем не прикрытая, а редкие тёмные волосы были собраны на затылке в маленький пучок. Она посмотрела на нас приветливо. Кроме подсвечника, перед ней на столе лежали маленькое зеркальце, старая колода карт, истрёпанная книжка с текстами песен и белая булочка, от которой уже откусили пару раз. Было заметно, что мадемуазель Лебядкина пользуется косметикой: белит лицо, румянит щёки, красит губы. Подведены даже брови, и без того тонкие и тёмные. На узком высоком лбу, несмотря на белила, отчётливо проступали три морщины. Я знал, что она хромает, но при нас она не вставала. Когда-то, в юности, это исхудавшее лицо могло быть даже привлекательным. Тихие, ласковые серые глаза и сейчас были замечательны. В её спокойном, почти радостном взгляде светилось что-то мечтательное и искреннее. Эта тихая радость, выразившаяся и в улыбке, удивила меня после всего, что я слышал о казацкой нагайке и о зверствах её брата. Странно, но вместо тяжёлого отвращения, которое обычно испытываешь в присутствии таких несчастных, мне стало почти приятно смотреть на неё с первой же минуты. Я почувствовал жалость, но никак не отвращение.

– Вот так и сидит целыми днями одна, никуда не выходит, гадает или в зеркало смотрится, – указал на неё Шатов, стоя в дверях. – Он её даже не кормит. Соседка иногда приносит что-нибудь из милости. И как можно оставлять её одну со свечой?

К моему удивлению, Шатов говорил громко, словно её и не было в комнате.

– Здравствуй, Шатушка! – приветливо сказала Марья Тимофеевна.

– Я тебе, Марья Тимофеевна, гостя привел, – сказал Шатов.

– Ну, гостю честь. Не знаю, кого ты привел, что-то не припоминаю, – она внимательно посмотрела на меня из-за свечи и тут же снова обратилась к Шатову (и больше мной совсем не занималась во время разговора, словно меня и не было рядом).

– Соскучился, что ли, одному по квартире шастать? – засмеялась она, обнажив два ряда прекрасных зубов.

– И соскучился, и тебя навестить захотелось.

Шатов подвинул к столу табуретку, сел и меня посадил рядом.

– Разговору я всегда рада, только все равно смешной ты мне, Шатушка, точно монах. Когда ты причёсывался-то? Дай я тебя еще причешу, – она достала из кармана расческу, – небось с того раза, как я причесала, и не трогал?

– Да у меня и расчески-то нет, – засмеялся Шатов.

– Правда? Так я тебе свою подарю, не эту, а другую, только напомни.

С самым серьезным видом она принялась его причёсывать, даже сделала сбоку пробор, откинулась немного назад, посмотрела, хорошо ли, и положила расческу обратно в карман.

– Знаешь что, Шатушка, – покачала она головой, – человек ты, пожалуй, и умный, а скучаешь. Странно мне на всех вас смотреть; не понимаю я, как это люди скучают. Тоска – это не скука. Мне весело.

– И с братцем весело?

– Это ты про Лебядкина? Он у меня вроде как на побегушках. И совсем мне все равно, тут он или нет. Я ему крикну: "Лебядкин, принеси воды, Лебядкин, подавай тапки", – он и бежит; иногда смешно становится.

– Да, именно так, – снова громко и без стеснения обратился ко мне Шатов. – Она его как мальчика на побегушках держит. Я сам слышал, как она ему кричала: "Лёха, принеси воды!",

и при этом смеялась. Только он за водой не бежит, а может и втащить ей за это, но она его совсем не боится. У нее приступы какие-то, чуть ли не каждый день, и память отшибает, так что она после ничего не помнит, что было, и время путает. Думаете, она помнит, как мы вошли? Может, и помнит, но наверняка уже все переиначила по-своему и принимает нас за кого-то других, хотя и помнит, что я – Шатуха. Ничего, что я громко говорю, тех, кто не с ней говорит, она сразу перестает слушать и уходит в свои мысли. Мечтательница страшная, может по восемь часов, целый день сидеть на одном месте. Вот булка лежит, она ее, может, с утра только раз откусила, а доест завтра. Вот в карты гадать начала...

— Гадаю я, гадаю, Шатушка, да что-то не выходит, — подхватила Марья Тимофеевна, услышав последние слова, и, не глядя, потянулась левой рукой к булке (видимо, и про булку тоже услышала). Булку она схватила, но, подержав немного в руке и увлекшись разговором, положила обратно на стол, даже не откусив. — Всё одно выходит: дорога, недобрый человек, чья-то подлость, больничная койка, письмо откуда-то, внезапное известие — ерунда это всё, я думаю, Шатушка, а ты как считаешь? Если люди врут, почему картам не врать? — и она сгребла карты в кучу. — Это самое я матери Прасковье говорила, почтенная женщина, забегала ко мне в комнату погадать, тайком от настоятельницы. Да и не она одна. Ахают, головами качают, обсуждают, а я смеюсь: "Ну где вам, говорю, мать Прасковья, письмо получить, если двенадцать лет не было?" Дочь у нее муж увез куда-то в Турцию, и двенадцать лет ни слуху ни духу. И вот сижу я на следующий вечер за чаем у настоятельницы (она из княжеского рода), сидит у нее какая-то дама приезжая, большая любительница эзотерики, и сидит один заезжий монах с Афона, довольно забавный, на мой взгляд. И что ты думаешь, Шатушка, этот монах в то самое утро матери Прасковье из Турции от дочери письмо принес, — вот тебе и бубновый валет — внезапное известие! Пьем мы чай, а афонский монах и говорит настоятельнице: "Больше всего, благословенная мать-настоятельница, Господь благословил вашу обитель тем, что такое драгоценное сокровище храните в ее стенах". — "Какое это сокровище?" — спрашивает настоятельница. "А мать Елизавету блаженную". А Елизавета эта блаженная у нас в ограде вделана в стену, в клетку метра три длиной и полтора высотой, и сидит она там за железной решеткой семнадцать лет, зимой и летом в одной холщовой рубахе и всё соломинкой или прутиком каким-нибудь в рубашку свою тычет, и ничего не говорит, и не чешется, и не моется семнадцать лет. Зимой ей куртку старую просунут да каждый день кусок хлеба и кружку воды. Паломники смотрят, ахают, вздыхают, деньги кладут. "Вот нашли сокровище, — отвечает настоятельница (рассердилась; терпеть не могла Елизавету), — Елизавета от одной злобы сидит, из одного упрямства, одно притворство". Не понравилось мне это; сама я хотела тогда уйти в затвор: "А по-моему, говорю, Бог и природа — это одно и то же". Они мне все в один голос: "Ну и ну!" Настоятельница рассмеялась, зашептала о чем-то с дамой, подозвала меня, приласкала, а дама мне бантик розовый подарила, хочешь, покажу? Ну, а монах стал мне тут же читать наставления, да так это ласково и смиренно говорил и с таким, надо сказать, умом; сижу я и слушаю. "Поняла ли?" — спрашивает. "Нет, говорю, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в покое". Вот с тех пор они меня одну в покое оставили, Шатушка. А тем временем шепнула мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за предсказания: "Богородица что есть, как думаешь?" — "Великая мать, отвечаю, надежда рода человеческого". — "Так, говорит, Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на полметра в глубину, то тотчас же обо всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество". Запали мне тогда эти слова. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и даже если и горя у тебя никакого нет, всё равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на

берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой — наша Острая гора, так ее и зовут — Острая. Взойду я на эту гору, повернусь лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, повернусь назад, а солнце садится, да такое большое, да пышное, да славное, — любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная-длинная и на километр дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и всё вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь темноты, Шатушка. И всё больше о своем ребеночке плачу...

– А он вообще был? – поддел меня Шатов, который слушал весь этот поток очень внимательно.

– А как же! Маленький такой, розовенький, с ноготочками крошечными. И вот мучаюсь, не помню, кто был – мальчик или девочка. То мальчик вспоминается, то девочка. Как родила я его тогда, сразу в пеленки завернула, ленточками перевязала, цветочками обсыпала, молитву прочитала, некрещеного понесла... И несу я его через лес, а лес этот страшный, боюсь я его, и плачу больше всего о том, что родила, а от кого – не знаю.

– Может, и был, – осторожно предположил Шатов.

– Смешной ты, Шатушка, с рассуждениями своими. Был, может, и был, да что с того, коли его всё равно что и не было? Вот тебе и загадка простая, отгадай-ка! – усмехнулась она.

– Куда же ты ребенка отнесла?

– В пруд отнесла, – вздохнула она.

Шатов снова толкнул меня локтем.

– А что, если и ребенка у тебя никакого не было, и всё это бред один?

– Трудный ты вопрос задаешь мне, Шатушка, – задумчиво и без всякого удивления ответила она. – На этот счет я тебе ничего не скажу. Может, и не было. По-моему, одно твое любопытство. Я ведь всё равно о нем плакать не перестану, не во сне же я видела? – И крупные слезы заблестели у нее в глазах. – Шатушка, Шатушка, а правда, что жена от тебя ушла? – вдруг положила она ему обе руки на плечи и жалостливо посмотрела на него. – Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. Знаешь, Шатушка, я сон какой видела: приходит он опять ко мне, зовет меня, манит: "Кошечка, – говорит, – моя, кошечка, выйди ко мне!" Вот я "кошечке"-то пуще всего и обрадовалась: любит, думаю.

– Может, и наяву придет, – пробормотал Шатов вполголоса.

– Нет, Шатушка, это уж сон... не придет он наяву. Знаешь песню:

Мне не надобен нов-высок терем,

Я останусь в этой келейке.

Уж я стану жить-спасатися,

За тебя богу молитися.

Ох, Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, что ты никогда меня ни о чем не спросишь?

– Да ведь не скажешь, потому и не спрашиваю.

– Не скажу, не скажу, хоть зарежь меня, не скажу, – быстро подхватила она. – Пытай, не скажу. И сколько бы я ни терпела, ничего не скажу, не узнают люди!

– Ну вот видишь, всякому, значит, свое, – еще тише проговорил Шатов, всё больше и больше наклоняя голову.

– А попросил бы, может, и сказала бы! Может, и сказала бы! – восторженно повторила она. – Почему не попросишь? Попроси, попроси меня хорошенько, Шатушка, может, я тебе и скажу. Умоли меня, Шатушка, так чтоб я сама согласилась... Шатушка, Шатушка!

Но Шатов молчал. Минуту продолжалось общее молчание. Слезы тихо текли по ее набеленным щекам. Она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него.

– Э, что мне до тебя, да и грех, – вдруг поднялся со скамьи Шатов. – Вставайте-ка! – сердито дернул он из-под меня скамью и, взяв, поставил ее на прежнее место.

– Придет, так чтоб не догадался. А нам пора.

– Ах, ты всё про моего ухажера! – засмеялась вдруг Марья Тимофеевна. – Боишься! Ну, прощайте, добрые гости. А послушай одну минутку, что я скажу. На днях пришел сюда этот Нилыч с Филипповым, с хозяином, рыжая борода, а мой-то как раз на меня набросился. Как хозяин-то схватит его, как дернет по комнате, а мой-то кричит: "Не виноват, за чужую вину терплю!" Так, веришь ли, все мы как были, так и покатались со смеху...

— А, ты всё про моего контрактника! — вдруг рассмеялась Марья Тимофеевна. — Боишься, что уведут? Ну, прощайте, гости дорогие; послушайте-ка, что расскажу. На днях приходил тут этот Нилыч с Филипповым, с хозяином квартиры, рыжая борода, а мой как раз на меня наехал. Хозяин как схватит его, как потащит по комнате, а мой кричит: "Не виноват, за чужую вину страдаю!" Так, веришь, мы все как попадали со смеху...

— Эх, Тимофеевна, да ведь это я был вместо рыжей бороды, это я его на днях за шкуру от тебя оттаскивал; а хозяин к тебе на той неделе приходил, ругался, ты и перепутала.

— Постой, и правда, перепутала, может, и ты. Ну, чего спорить о ерунде; ему-то всё равно, кто его таскает, — засмеялась она.

— Пошли, — вдруг дернул меня Шатов, — ворота скрипят; застанет нас, поколотит её.

И мы не успели подняться по лестнице, как в воротах раздался пьяный крик и мат. Шатов впустил меня к себе и запер дверь на замок.

— Придётся посидеть немного, если не хочешь проблем. Вишь, кричит как поросёнок, наверное, опять за порог зацепился; каждый раз растягивается.

Без проблем, однако, не обошлось.

VI

Шатов стоял у запертой двери и прислушивался к лестнице; вдруг отскочил.

— Сюда идёт, я так и знал! — яростно прошептал он. — Наверное, до ночи не отстанет. Раздалось несколько сильных ударов кулаком в дверь.

— Шатов, Шатов, открой! — завопил капитан. — Шатов, друг!..

Я пришёл к тебе с приветом,

Р-рассказать, что солнце встало,

Что оно гор-р-рячим светом

По... лесам... затр-р-репетало.

Рассказать тебе, что я проснулся, чёрт тебя дери,

Весь пр-р-роснулся под... ветвями...

Точно под розгами, ха-ха!

Каждая птичка... просит жажды.

Рассказать, что пить я буду,

Пить... не знаю, пить что буду.

Ну, да и чёрт с ним, с глупым любопытством! Шатов, понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете!

— Не отвечай, — снова шепнул мне Шатов.

— Открой же! Понимаешь ли ты, что есть нечто высшее, чем драка... между человечеством; есть минуты благо-о-родного лица... Шатов, я добр; я прощу тебя... Шатов, к чёрту прокламации, а?

Молчание.

— Понимаешь ли ты, осёл, что я влюблён, я костюм купил, посмотри, костюм любви, пятнадцать тысяч; капитанская любовь требует светских приличий... Открой! — дико взревел он вдруг и снова неистово застучал кулаками.

— Убирайся к чёрту! — взревел в ответ Шатов.

— Р-р-раб! Раб крепостной, и сестра твоя раба и рабыня... вор-ровка!

— А ты свою сестру продал.

— Врёшь! Терплю напраслину, когда могу одним объяснением... понимаешь ли, кто она такая?

— Кто? — с любопытством подошёл вдруг к двери Шатов.

— Да ты понимаешь ли?

— Да пойму, скажи, кто?

— Я смею сказать! Я всегда всё смею в публике сказать!..

— Ну, вряд ли смеешь, — поддразнил Шатов и кивнул мне головой, чтобы я слушал.

— Не смею?

— По-моему, не смеешь.

— Не смею?

— Да говори, если начальства не боишься... Ты ведь трус, а ещё капитан!

— Я... я... она... она есть... — залепетал капитан дрожащим, взволнованным голосом.

— Ну? — подставил ухо Шатов.

Наступило молчание по крайней мере на полминуты.

— Па-а-адлец! — раздалось наконец за дверью, и капитан быстро отступил вниз, пыхтя как самовар, шумно оступаясь на каждой ступени.

— Нет, он хитёр, и пьяный не проболтается, — отошёл от двери Шатов.

— Что же это такое? — спросил я.

Шатов махнул рукой, отпер дверь и снова стал прислушиваться к лестнице. Долго слушал, даже спустился на несколько ступенек. Наконец вернулся.

— Тихо. Не слышно ничего. Значит, сразу вырубился. Тебе пора идти.

— Послушай, Шатов, что мне теперь обо всем этом думать?

— Да думай что хочешь! — ответил он устало и брезгливо и сел за свой рабочий стол.

Я ушел. Одна невероятная мысль все сильнее укреплялась в моем воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне...

VII

Этот «завтрашний день», то есть то самое воскресенье, когда должна была решиться судьба Степана Трофимовича, был одним из самых странных дней в моей жизни. День неожиданностей, день развязок старого и начала нового, резких объяснений и еще большей путаницы. Утром, как читатель уже знает, я должен был сопровождать моего друга к Варваре Петровне по ее приглашению, а в три часа дня я уже должен был быть у Лизаветы Николаевны, чтобы рассказать ей... я сам не знал, о чем, и помочь ей... сам не знал, в чем. И все разрешилось совсем не так, как можно было предположить. Одним словом, это был день удивительных совпадений.

Началось с того, что мы со Степаном Трофимовичем, явившись к Варваре Петровне ровно в двенадцать, как она назначила, не застали ее дома. Она еще не вернулась с церковной службы. Бедный мой друг был так взволнован, или, лучше сказать, так расстроен, что это обстоятельство сразу же его подкосило. Он почти без сил опустился в кресло в гостиной. Я предложил ему воды, но, несмотря на бледность и дрожь в руках, он с достоинством отказался. Кстати, выглядел он в этот раз особенно элегантно: почти бальный костюм, рубашка из тонкого батиста с вышивкой, белый галстук, новая шляпа в руках, свежие перчатки и даже немного одеклона. Едва мы уселись, вошел Шатов, которого впустил дворецкий, очевидно, тоже по официальному приглашению. Степан Трофимович было привстал, чтобы протянуть ему руку, но Шатов, внимательно посмотрев на нас обоих, повернулся в угол, сел там и даже не кивнул нам в знак приветствия. Степан Трофимович снова испуганно посмотрел на меня.

Так просидели мы еще несколько минут в полном молчании. Степан Трофимович вдруг начал мне что-то быстро шептать, но я не расслышал. Да и сам он от волнения не договорил

и замолчал. Вошел дворецкий, чтобы поправить что-то на столе, а вернее, чтобы посмотреть на нас. Шатов вдруг обратился к нему громким вопросом:

— Алексей Егорович, не знаете, Дарья Павловна с ней поехала?

— Варвара Петровна уехала в собор одна, а Дарья Павловна осталась наверху, неважно себя чувствует, — доложил Алексей Егорыч тоном, не терпящим возражений.

Мой бедный друг снова встретился со мной тревожным взглядом, так что я невольно отвернулся. Вдруг у подъезда раздался шум подъехавшей машины, и какое-то движение в доме подсказало, что хозяйка вернулась. Мы все вскочили с кресел, но тут новая неожиданность: послышался топот многих ног, означавший, что хозяйка вернулась не одна. Это было странно, так как она сама назначила нам это время. Наконец, кто-то вошел очень быстро, почти бегом, а Варвара Петровна так не ходит. И вдруг она почти влетела в комнату, запыхавшаяся и взволнованная. За ней, немного отстав и тише, вошла Лизавета Николаевна, а с Лизаветой Николаевной рука об руку — Марья Тимофеевна Лебядкина! Если бы я увидел это во сне, то и тогда бы не поверил.

Чтобы объяснить эту неожиданность, нужно вернуться на час назад и рассказать подробнее о необычном происшествии, случившемся с Варварой Петровной в соборе.

Во-первых, на службу собрался почти весь город, то есть высший слой нашего общества. Знали, что приедет жена нового мэра, впервые после назначения. Уже ходили слухи, что она прогрессивных взглядов и "новых правил". Всем дамам было известно, что она будет одета великолепно и со вкусом, поэтому наряды наших дам отличались изысканностью и пышностью. Только Варвара Петровна была скромно и как всегда одета во все черное; так она одевалась последние четыре года. Приехав в собор, она заняла свое обычное место слева, в первом ряду, и служащий положил перед ней подушку для коленопреклонений, все как обычно. Но заметили, что на этот раз она во время службы как-то особенно усердно молилась; потом, когда все вспоминали, говорили, что у нее даже слезы стояли в глазах. Наконец, служба закончилась, и отец Павел, настоятель, вышел сказать проповедь. У нас любили его проповеди и ценили их; даже уговаривали его опубликовать, но он все не решался. На этот раз проповедь получилась особенно длинной.

И вот во время проповеди к собору подъехало старенькое такси, из тех, где пассажиры сидят боком, держась за ручку и подпрыгивая на каждой кочке. Такие еще встречаются в нашем городе. Остановившись у угла собора, потому что у входа стояло много машин и дежурили сотрудники военной полиции, дама выскочила из такси и подала водителю четыре рубля.

— Да ладно тебе, Вань! — огрызнулась она, заметив его недовольное лицо. — У меня всё, что есть, — добавила она жалобно.

— Ну, да Бог с тобой, не обеднею, — махнул рукой Иван и посмотрел на неё, словно говоря: «Да и грех тебя обижать». Затем, спрятав за пазуху кожаный кошелек, тронул машину и уехал, провожаемый насмешками стоявших рядом таксистов. Насмешки и даже удивление сопровождали женщину, пока она пробиралась к воротам храма между припаркованными машинами и ожидавшими выхода начальства водителями. И действительно, было что-то необычное и неожиданное в появлении такой особы вдруг из ниоткуда посреди улицы. Она была болезненно худа и прихрамывала, сильно накрашена, с открытой шеей, без шарфа, без куртки, в одном стареньком тёмном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный октябрьский день; с непокрытой головой, с волосами, собранными в маленький пучок на затылке, в который справа была воткнута одна искусственная роза, из тех, которыми украшают иконки на Пасху. Такую иконку с бумажными розами я как раз видел вчера в углу, под образами, когда сидел у Марьи Тимофеевны. В довершение всего дама шла, хоть и скромно опустив глаза, но в то же время весело и лукаво улыбаясь. Если бы она чуть помедлила, её бы, может быть, и не пустили в храм... Но она успела проскользнуть и, войдя, незаметно протиснулась вперёд.

Хотя служба была в самом разгаре и вся толпа, заполнившая храм, слушала её с полным и безмолвным вниманием, всё же несколько глаз с любопытством и недоумением покосились на вошедшую. Она упала на церковный пол, склонив на него своё накрашенное лицо, лежала долго и, видимо, плакала; но, подняв голову и встав с колен, очень скоро пришла в себя и отвлеклась. Весело, с видимым удовольствием, стала она скользить глазами по лицам, по стенам храма; с особым любопытством вглядывалась в других женщин, приподнимаясь для этого даже на цыпочки, и даже пару раз засмеялась, как-то странно хихикая. Но служба закончилась, и вынесли крест. Жена мэра пошла к кресту первой, но, не дойдя двух шагов, приостановилась, видимо желая уступить дорогу Варваре Петровне, которая подходила слишком уж прямо и как бы не замечая никого впереди себя. Необычайная учтивость жены мэра, без сомнения, заключала в себе явную и остроумную колкость; так все поняли; так поняла, должно быть, и Варвара Петровна; но по-прежнему никого не замечая и с самым непоколебимым видом достоинства приложилась она ко кресту и тут же направилась к выходу. Охранник расчищал перед ней дорогу, хотя и без того все расступались. Но у самого выхода, на паперти, тесно сбившаяся кучка людей на мгновение преградила путь. Варвара Петровна остановилась, и вдруг странное, необычное существо, женщина с бумажной розой на голове, протиснувшись между людьми, опустилась перед ней на колени. Варвара Петровна, которую трудно было чем-либо смутить, особенно на публике, посмотрела важно и строго.

Проповедь была в самом разгаре, и вся переполненная церковь слушала с напряженным вниманием, но все же несколько любопытных взглядов скользнули в сторону вошедшей. Она опустилась на колени у входа, склонив лицо, и долго, казалось, плакала. Но, подняв голову и выпрямившись, быстро пришла в себя и даже оживилась. С явным удовольствием она стала оглядывать лица, стены собора, с особым любопытством вглядываясь в некоторых дам, приподнимаясь на цыпочки, и пару раз даже странно хихикнула.

Проповедь закончилась, и вынесли крест. Жена главы администрации пошла к кресту первой, но, не дойдя двух шагов, остановилась, словно уступая дорогу Варваре Петровне, которая шла прямо, будто не замечая никого вокруг. Эта необычная учтивость, без сомнения, содержала в себе колкость, которую все заметили. Варвара Петровна, казалось, тоже это поняла, но, не обращая внимания ни на кого, с непоколебимым достоинством приложилась ко кресту и направилась к выходу. Сотрудник охраны расчищал ей путь, хотя и без того все расступались.

Но у самого выхода, на паперти, плотная толпа на мгновение преградила ей дорогу. Варвара Петровна остановилась, и вдруг странная женщина, с каким-то цветком в волосах, протиснувшись сквозь толпу, упала перед ней на колени. Варвару Петровну, которую трудно было смутить, особенно на публике, окинула ее строгим взглядом.

Стоит отметить, что Варвара Петровна, хотя в последние годы и стала, как говорили, расчетливой и даже скуповатой, иногда не жалела денег на благотворительность. Она состояла в одном благотворительном обществе в столице. В голодный год она отправила в Петербург, в комитет помощи пострадавшим, крупную сумму, и об этом говорили. А совсем недавно, перед назначением нового главы администрации, она даже собиралась основать местный дамский комитет для помощи малоимущим матерям в городе и области. Многие упрекали ее в честолюбии, но ее энергия и настойчивость почти победили все препятствия. Комитет почти был создан, и первоначальная идея все шире развивалась в ее восторженном уме: она мечтала об основании такого же комитета в Москве, о распространении его деятельности по всей стране.

Но со сменой главы администрации все приостановилось. Говорили, что новая жена главы администрации уже успела высказать несколько колких и метких замечаний о непрактичности этой идеи, что, конечно, с приукрашиваниями, дошло до Варвары Петровны. Один Бог знает, что у нее на сердце, но, вероятно, Варвара Петровна даже с некоторым удовольствием остановилась у выхода из собора, зная, что сейчас мимо пройдет жена главы админи-

страции, а затем и все остальные. "Пусть сама увидит, что мне все равно, что бы она там ни подумала и что бы ни сказала насчет моего тщеславия. Вот вам всем!"

Сразу скажу, чтобы не затягивать: Варвара Петровна, хотя и стала в последние годы, как говорили, излишне расчетливой и даже скуповатой, иногда не жалела денег на благотворительность. Она состояла в каком-то фонде помощи беженцам в Москве. В прошлом году, когда в приграничных областях были сильные обстрелы, она перевела в фонд пятьсот тысяч рублей, и об этом у нас говорили. А совсем недавно, перед назначением нового главы администрации, она почти организовала местный волонтерский комитет для помощи беременным женам мобилизованных в городе и области. Многие упрекали ее в желании покрасоваться, но ее энергичный характер и настойчивость почти победили все препятствия. Комитет почти заработал, и первоначальная идея все шире разрасталась в ее голове: она мечтала о создании такого же комитета в Москве, о постепенном расширении его деятельности по всей стране. И вот, с внезапной сменой главы администрации, все остановилось. А новая чиновница, говорят, уже успела высказать в обществе несколько колких и, главное, точных замечаний насчет непрактичности подобного комитета. Это, конечно, с приукрашиваниями, уже передали Варваре Петровне. Один Бог знает, что у людей на душе, но думаю, Варвара Петровна даже с некоторым удовольствием приостановилась у самых дверей, зная, что мимо сейчас пройдет новая чиновница, а за ней и все остальные. "Пусть сама увидит, что мне все равно, что бы она там ни подумала и что бы ни сказала насчет моей благотворительности. Вот вам всем!"

— Что вы, милая, о чем вы просите? — Варвара Петровна внимательнее всмотрелась в женщину, стоявшую перед ней на коленях. Та смотрела на нее испуганно, смущенно, но почти благоговейно, и вдруг усмехнулась с тем же странным хихиканьем.

— Что она? Кто она? — Варвара Петровна обвела присутствующих повелительным и вопросительным взглядом. Все молчали.

— Вы несчастны? Вы нуждаетесь в помощи?

— Я нуждаюсь... Я приехала... — лепетала "несчастливая" прерывающимся от волнения голосом. — Я приехала только, чтобы вашу ручку поцеловать... — и снова хихикнула. С самым детским взглядом, с каким дети ласкаются, что-нибудь выпрашивая, она потянулась, чтобы схватить руку Варвары Петровны, но, как бы испугавшись, вдруг отдернула свои руки назад.

— Только за этим и приехали? — улыбнулась Варвара Петровна с сочувствующей улыбкой, но тут же быстро вынула из кармана свой перламутровый портмоне, а из него пятитысячную купюру и подала незнакомке. Та взяла. Варвара Петровна была очень заинтересована и, видимо, не считала незнакомку обычной попрошайкой.

— Вишь, пять тысяч дала, — проговорил кто-то в толпе.

— Ручку-то пожалуйте, — лепетала "несчастливая", крепко прихватив пальцами левой руки за уголок полученную купюру, которую трепал ветерок. Варвара Петровна почему-то немного нахмурилась и с серьезным, почти строгим видом протянула руку. Та с благоговением поцеловала ее. Благодарный взгляд ее заблестел каким-то даже восторгом. Вот в это самое время подошла новая чиновница и появилась целая толпа наших дам и важных чиновников. Чиновница поневоле должна была на минутку остановиться в тесноте; многие остановились.

— Вот, пожалуйста, распишитесь, — пролепетала "несчастливая", крепко сжимая пальцами левой руки полученную купюру в тысячу рублей, которую трепал ветер. Варвара Петровна почему-то слегка нахмурилась и с серьезным, почти строгим видом протянула руку; та с благоговением поцеловала ее. Благодарный взгляд засиял каким-то даже восторгом. В этот момент подошла жена мэра, и следом целая толпа наших дам и важных чиновников. Жене мэра пришлось на минуту остановиться в тесноте; многие последовали ее примеру.

— Вы дрожите, вам холодно? — вдруг заметила Варвара Петровна и, скинув с себя свою дорогую куртку, которую тут же подхватил охранник, сняла с плеч свой черный кашемировый

палантин (очень недешевый) и собственными руками укутала обнаженную шею все еще стоявшей перед ней просительницы.

– Да встаньте же, встаньте, прошу вас! – Та поднялась.

– Где вы живете? Неужели никто не знает, где она живет? – снова нетерпеливо оглянулась вокруг Варвара Петровна. Но прежней кучки уже не было; виднелись все знакомые светские лица, разглядывавшие сцену: одни – с строгим удивлением, другие – с лукавым любопытством и в то же время с невинной жадой скандальчика, а третьи начинали даже посмеиваться.

– Кажется, это из семьи Лебядкиных, – нашелся наконец один добрый человек, отвечая на вопрос Варвары Петровны, – наш уважаемый бизнесмен Андреев, в очках, с седой бородой, в пуховике и с модной шапкой бини, которую он теперь держал в руках, – они снимают квартиру в "Софии Киевской", кажется.

– Лебядкин? "София Киевская"? Что-то слышала... благодарю вас, Никон Семенович, но кто этот Лебядкин?

– Говорят, он бывший военный, человек, надо сказать, не совсем адекватный. А это, скорее всего, его сестра. Она, видимо, сейчас без присмотра осталась, – понизив голос, проговорил Никон Семенович и многозначительно взглянул на Варвару Петровну.

– Понимаю вас; благодарю, Никон Семенович. Вы, милая моя, госпожа Лебядкина?

– Нет, я не Лебядкина.

– Так, может быть, ваш брат Лебядкин?

– Брат мой – Лебядкин.

– Вот что я сделаю: я вас сейчас, моя милая, с собой возьму, а от меня вас уже отвезут к вашей семье; хотите поехать со мной?

– Ах, хочу! – всплеснула руками госпожа Лебядкина.

– Тетя, тетя! Возьмите и меня с собой к вам! – раздался голос Лизаветы Николаевны. Замечу, что Лизавета Николаевна приехала на благотворительный обед вместе с женой мэра, а Прасковья Ивановна, по совету врача, поехала тем временем покататься по городу, а для развлечения взяла с собой и Маврикия Николаевича. Лиза вдруг оставила жену мэра и подскочила к Варваре Петровне.

– Милая моя, ты знаешь, я всегда тебе рада, но что скажет твоя мама? – начала было степенно Варвара Петровна, но вдруг смутилась, заметив необычайное волнение Лизы.

– Тетя, тетя, непременно сейчас с вами, – умоляла Лиза, целуя Варвару Петровну.

– Mais qu'avez-vous donc, Lise! – с выразительным удивлением проговорила жена мэра.

– Ах, простите, дорогая кузина, я к тете, – на лету повернулась Лиза к неприятно удивленной своей кузине и поцеловала ее два раза.

— И маме передайте, чтобы срочно приехала за мной к тете; мама точно, точно хотела заехать, она недавно сама говорила, я забыла вас предупредить, — тараторила Лиза, — виновата, не сердитесь, Юлия Михайловна... дорогая кузина... тетя, я готова!

— Если вы, тетя, меня не возьмете, я за вашей машиной побегу и закричу, — быстро и отчаянно прошептала она прямо на ухо Варваре Петровне; хорошо ещё, что никто не услышал. Варвара Петровна даже отшатнулась и пронзительно посмотрела на девушку. Этот взгляд всё решил: она точно решила взять с собой Лизу!

— Этому надо положить конец, — вырвалось у неё. — Хорошо, я с удовольствием беру тебя, Лиза, — тут же громко добавила она, — конечно, если Юлия Михайловна согласится тебя отпустить, — с открытым видом и с прямым достоинством повернулась она к жене губернатора.

— О, конечно, я не хочу лишать её этого удовольствия, тем более что я сама... — с удивительной любезностью зашептала вдруг Юлия Михайловна, — я сама... прекрасно понимаю, какая у нас фантастическая, своевольная головка (Юлия Михайловна очаровательно улыбнулась)...

— Благодарю вас чрезвычайно, — поблагодарила вежливым и важным поклоном Варвара Петровна.

— И мне тем более приятно, — почти с восторгом продолжала свой лепет Юлия Михайловна, даже покраснев от приятного волнения, — что, кроме удовольствия быть у вас, Лизу увлекает такое прекрасное, такое, я бы сказала, высокое чувство... сострадание... (она взглянула на «несчастную»)... и... прямо на паперти храма...

— Такой взгляд делает вам честь, — великолепно одобрила Варвара Петровна. Юлия Михайловна стремительно протянула свою руку, и Варвара Петровна с готовностью дотронулась до неё своими пальцами. Общее впечатление было прекрасное, лица некоторых присутствующих просияли удовольствием, показалось несколько сладких и заискивающих улыбок.

Одним словом, всему городу вдруг стало ясно, что это не Юлия Михайловна до сих пор игнорировала Варвару Петровну и не наносила ей визита, а сама Варвара Петровна, напротив, «держала в узде Юлию Михайловну, тогда как та пешком бы, может, побежала к ней с визитом, если бы только была уверена, что Варвара Петровна её не выгонит». Авторитет Варвары Петровны взлетел до небес.

— Садитесь же, милая, — указала Варвара Петровна Лизе на подъехавшую машину; «несчастливая» радостно побежала к дверце, у которой её подхватил водитель.

— Как! Вы хромаете! — вскричала Варвара Петровна, словно испугавшись, и побледнела. (Все тогда это заметили, но не поняли...)

Машина тронулась. Дом Варвары Петровны находился совсем недалеко от собора. Лиза рассказывала мне потом, что Лебядкина истерически смеялась все эти три минуты поездки, а Варвара Петровна сидела «словно в каком-то магнетическом сне», собственное выражение Лизы.

Глава пятая

Мудрый змей

I

Варвара Петровна позвонила по селектору и бросилась в кресло у окна.

— Садитесь здесь, моя милая, — указала она Лизе место посреди комнаты, у большого круглого стола. — Степан Трофимович, что это такое? Вот, вот, смотрите на эту женщину, что это такое?

— Я... я... — залепетал было Степан Трофимович...

Но вошёл официант.

— Чашку кофе, сейчас же, крепкий и как можно скорее! Машину не отпускать.

— Но, дорогая и добрейшая подруга, в каком беспокойстве... — замирающим голосом воскликнул Степан Трофимович.

— Ma chère et excellente amie... — замирающим голосом пролепетал Степан Трофимович, переходя на французский.

— Ой, по-французски заговорил! Сразу видно, человек из высшего общества! — захлопала в ладоши Марья Тимофеевна, предвкушая светскую беседу. Варвара Петровна в испуге уставилась на нее.

Все молча ждали, чем это кончится. Шатов не поднимал головы, а Степан Трофимович выглядел растерянным, словно во всем виноват. На висках у него выступил пот. Я взглянул на Лизу (она сидела в углу, почти рядом с Шатовым). Ее глаза внимательно следили за Варварой Петровной и хромой женщиной, а на губах играла неприятная усмешка. Варвара Петровна заметила эту усмешку. Марья Тимофеевна же была полностью поглощена разглядыванием роскошной гостиной Варвары Петровны: дорогая мебель, ковры, картины на стенах, лепнина на потолке, большая икона в углу, стильная лампа, альбомы и статуэтки на столе.

— А, так и ты здесь, Шатушка! — вдруг воскликнула она. — Представь себе, я тебя давно вижу, да думаю: не он! Как ты сюда попал? — и весело рассмеялась.

– Вы знакомы с этой женщиной? – тут же повернулась к нему Варвара Петровна.

– Знаком, – пробормотал Шатов, попытался привстать, но остался сидеть.

– Что вам о ней известно? Говорите же!

– Да что... – он выдавил неловкую улыбку и запнулся. – Сами видите.

– Что вижу? Говорите толком!

– Живет в том же доме, где и я... с братом... и один офицер.

– Ну?

Шатов снова запнулся.

– Не стоит об этом... – пробормотал он и замолчал, даже покраснев от решимости.

– Конечно, от вас ничего другого и не ждешь! – с негодованием оборвала его Варвара Петровна. Ей стало ясно, что все что-то знают, но боятся говорить и уклоняются от ее вопросов, что-то скрывают.

Вошел официант и поднес ей на серебряном подносе заказанную чашку кофе, но по ее знаку тут же направился к Марье Тимофеевне.

– Вы, моя милая, наверняка замерзли, выпейте кофе, согрейтесь.

– Мерсі, – взяла чашку Марья Тимофеевна и вдруг захихикала, вспомнив, что сказала официанту "merci". Но, встретив суровый взгляд Варвары Петровны, смутилась и поставила чашку на стол.

– Тетя, вы что, сердитесь? – пролепетала она с какой-то легкомысленной игривостью.

– Что-о-о? – Варвара Петровна выпрямилась в кресле. – Какая я вам тетя? Что вы имеете в виду?

Марья Тимофеевна, не ожидавшая такой реакции, задрожала, словно в припадке, и откинулась на спинку кресла.

– Я... я думала, так надо, – пролепетала она, глядя на Варвару Петровну. – Лиза вас так называла.

– Какая еще Лиза?

– А вот эта девушка, – указала пальцем Марья Тимофеевна.

– Так вы уже с ней на "ты"?

– Вы сами ее так называли, – немного осмелела Марья Тимофеевна. – А во сне я видела точно такую же красавицу, – усмехнулась она.

Варвара Петровна сообразила и немного успокоилась, даже слегка улыбнулась последним словам Марьи Тимофеевны. Та, заметив улыбку, встала с кресла и, прихрамывая, робко подошла к ней.

— Возьмите, я забыла вернуть. Простите за невнимательность, — она вдруг сняла с плеч свой черный платок, который ей дала Варвара Петровна.

— Наденьте его сейчас же обратно и оставьте себе. Идите, сядьте, выпейте кофе и, пожалуйста, не бойтесь меня, моя дорогая, успокойтесь. Я начинаю вас понимать.

— *Chère amie...* — снова попытался вставить Степан Трофимович.

— Ах, Степан Трофимович, тут и без вас голова кругом идет, пожалейте хоть вы... Пожалуйста, позвоните вот в этот звонок, в горничную.

Наступила тишина. Ее взгляд подозрительно и раздраженно скользил по нашим лицам. Появилась Агаша, ее любимая горничная.

— Принеси мне клетчатый платок, который я в Европе купила. Что делает Дарья Павловна?

— Ей нездоровится.

— Сходи и попроси ее сюда. Скажи, что я очень прошу, даже если она плохо себя чувствует.

В этот момент из соседних комнат снова послышался какой-то шум шагов и голосов, похожий на прежний, и вдруг на пороге появилась запыхавшаяся и взволнованная Прасковья Ивановна. Маврикий Николаевич поддерживал ее под руку.

— Ох, батюшки, еле дошла; Лиза, что ты, сумасшедшая, с матерью творишь! — взвизгнула она, вкладывая в этот визг, как обычно делают слабые, но очень раздражительные особы, всё накопившееся раздражение.

— Варвара Петровна, я к вам за дочерью!

Варвара Петровна взглянула на нее исподлобья, полуприподнялась навстречу и, едва скрывая досаду, проговорила:

— Здравствуй, Прасковья Ивановна, будь добра, садись. Я так и знала, что ты приедешь.

П

Для Прасковьи Ивановны такой прием не был чем-то новым. Варвара Петровна всегда, с самого детства, относилась к своей бывшей подруге по пансиону свысока, как бы дружила с презрением. Но сейчас ситуация была особенной. В последние дни между их домами назревал серьезный конфликт, о котором я уже упоминал вскользь. Причины этого конфликта для Варвары Петровны пока оставались неясными, что делало их еще более обидными. Главное же было в том, что Прасковья Ивановна вдруг стала вести себя с ней надменно. Варвара Петровна, разумеется, была задета, к тому же до нее доходили какие-то странные слухи, которые ее раздражали своей неопределенностью. У Варвары Петровны был прямой и гордый характер, она всегда предпочитала открытую конфронтацию. Больше всего она не выносила тайных обвинений и всегда выбирала открытую войну. Так или иначе, дамы не виделись уже пять дней. Последний визит был со стороны Варвары Петровны, которая уехала от "Дроздихи" обиженной и смущенной. Я уверен, Прасковья Ивановна вошла с наивной уверенностью, что Варвара Петровна почему-то должна ее бояться; это было видно по ее лицу. Но, видимо, именно в такие моменты Варварой Петровной овладевала гордость, особенно если она подозревала, что ее считают униженной. Прасковья же Ивановна, как и многие слабые люди, позволявшие себя обижать без протеста, отличалась необыкновенным азартом в нападении, когда ситуация складывалась в ее пользу. К тому же она была нездорова, а в болезни становилась еще более раздражительной. Добавлю, что все мы, находившиеся в гостиной, не могли помешать ссоре между подругами детства; нас считали своими людьми, почти подчиненными. Я с тревогой это осознал. Степан Трофимович, который не садился с самого прихода Варвары Петровны, услышав взвизг Прасковьи Ивановны, в изнеможении опустился на стул и с отчаянием искал мой взгляд. Шатов резко повернулся на стуле и что-то пробормотал себе под нос. Мне кажется, он хотел встать и уйти. Лиза слегка приподнялась, но тут же снова села, не обратив внимания на взвизг матери, не из-за "тяжелого характера", а потому, что была поглощена какими-то другими сильными переживаниями. Она смотрела куда-то в пустоту, рассеянно, и даже на Марию Тимофеевну перестала обращать внимание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.